

Нил Гейман

ОКЕАН В КОНЦЕ ДОРОГИ

Аманде, которая хотела знать.

«Я живо помню свое детство... мне были ведомы страшные вещи. Но я знал — взрослые ни в коем случае не должны догадаться, что я знаю. Это бы их испугало».

0

Это был всего-навсего пруд с утками, позади фермы. Он был не очень большой.

Лэтти Хэмпсток говорила, это океан, но я знал, так не бывает. Она говорила, они приплыли сюда по океану со своей родины, из Древнего Края.

Ее мать говорила, что Лэтти уже не помнит, что дело это давнее, и в любом случае Древний Край ушел под воду.

Старая миссис Хэмпсток, бабушка Лэтти, говорила, что они обе не правы, что затонувший край не был таким уж древним. Она говорила, что еще помнит *по-настоящему* Древний Край.

Она говорила, по-настоящему Древний Край взлетел на воздух.

ПРОЛОГ

На мне был черный костюм и белая рубашка, черный галстук и начищенные до блеска черные туфли: вещи, в которых обычно мне неуютно, будто я украл чужую униформу или притворяюсь взрослым. Сегодня они придавали какую-то уверенность. Подходящие вещи для трудного дня.

Утром на службе я говорил то, что предписано, и слово реченное шло от сердца, а когда служба кончилась, я сел в машину и поехал наугад, не глядя на карту, оставалось свободное время — около часа, прежде чем снова придется говорить с людьми, которых не видел много лет, жать руки и пить нескончаемый чай из лучших фарфоровых чашек. Я ехал петляющими проселочными дорогами Сассекса, с трудом узнавая местность, пока не понял, что дорога ведет в центр города, тогда я свернул с нее, взял влево, потом вправо. Тут только до меня дошло, куда я ехал, ехал с самого начала, и я тряхнул головой, удивляясь собственной глупости.

Все это время я стремился к дому, который давно ушел из моей жизни.

Я ехал по тракту — когда-то он был проселком у ячменного поля — и думал развернуться, думал повернуть назад и не ворошить прошлое. Но мне стало интересно.

Старый дом — тот, где я жил семь лет, пока мне не исполнилось двенадцать, снесли, от него ничего не осталось. Новый дом — тот, что выстроили родители в дальнем углу сада, между кустами азалии и зеленым кругом в траве, который мы называли кольцом фей, продали тридцать лет назад.

Увидев новый дом, я сбавил скорость. Для меня он всегда будет новым. Я остановился на подъездной дорожке посмотреть, что случилось с постройкой 1970-х. Совсем забыл, что кирпичи были шоколадно-коричневыми. Из маминого балкона сделали двухуровневую застекленную террасу. Я глядел на дом, думая о своем отрочестве, и вопреки ожиданиям почти ничего не мог вспомнить: ни хорошего, ни плохого. Когда-то я жил в этом доме. Но, похоже, ко мне нынешнему он уже не имел отношения.

Я дал задний ход и вывел машину с дорожки.

Я знал, надо ехать к сестре, в ее шумный, веселый дом, вычищенный по случаю и битком набитый людьми. Говорить с теми, о чьем существовании я давно и думать забыл, они будут спрашивать о моем браке (развалился десять лет назад, отношения потихоньку изнашивались, пока, как это, верно, всегда и бывает, вконец не расстроились); о том, встречаюсь ли я с кем (не встречаюсь, и даже не уверен, что готов, пока еще нет); и о моей работе — об искусстве (спасибо, с ней все хорошо, стану отвечать я, так и не научившись говорить о том, чем занимаюсь. Если бы мог, не нужно было бы работать. Я занимаюсь искусством. Иногда настоящим, и оно заполняет бреши в моей жизни. Некоторые из них. Не все). Мы будем говорить об ушедших. Будем говорить о тех, кто умер.

Узкий проселок моего детства стал теперь дорогой из темного бетона, границей между двумя раскидистыми жилыми массивами. Я ехал по ней прочь из города, не туда, куда должен был ехать, но на душе было радостно.

Темный глянцевый тракт становился все **уже**, больше петлял, пока не превратился в тот самый знакомый проселок из утоптанного грунта и гальки.

Скоро я уже ехал по тесной дорожке, двигаясь медленно, подпрыгивая на кочках, а по обеим сторонам, в прогалинах между кустами лещины и высоким бурьяном, тянулись заросли ежевики и шиповника. Казалось, я проехал назад сквозь время. Все изменилось, а проселок остался прежним.

Я миновал «Тминный двор». Пришло на память, как мальчишкой шестнадцати лет я целую румяную, белокурую Келли Андерс, которая жила здесь и в скором времени переехала вместе с семьей на Шетландские острова, а я так ее и не поцеловал снова, да и больше не видел. Дальше по обеим сторонам дороги лишь поля, и так почти мило: путаная вязь из пойменных лугов. Медленно проселок сужался. Он подходил к концу.

И прежде чем завернуть за угол, прежде чем увидеть сам дом Хэмпстоков из красного

кирпича во всем своем обветшалом великолепии, я вспомнил его.

Дом застал меня врасплох, хотя всегда стоял там, где заканчивался проселок. Больше ехать было некуда. Я припарковал машину у забора, не зная, что теперь делать. Интересно, неужели по прошествии стольких лет здесь кто-то еще живет, или, точнее, живут ли здесь еще Хэмпстоки. Непохоже было, но, насколько я помнил, а помнил я не много, они были людьми, ни на кого не похожими.

Стоило выбраться из машины, как в нос ударил смрадный запах коровьего навоза, и я осторожно стал пробираться через маленький двор к входной двери. Так и не обнаружив звонок, я постучал. Дверь была неплотно затворена, и от стука слегка приоткрылась.

Я был здесь прежде, когда-то давным-давно, правда? Наверняка был. Детские воспоминания иногда скрываются и меркнут под грузом того, что приходит позже, как детские игрушки, забытые взрослыми на самом дне переполненной кладовки, но они всегда начеку и ждут своего часа. Я остановился в прихожей и позвал: «Здравствуйте! Есть кто дома?»

В ответ тишина. Лишь запах свежего хлеба, восковой натирки для мебели и старого дерева. Мои глаза мало-помалу привыкали к темноте: я вглядывался в нее, уже собираясь повернуться и уйти восвояси, как из темного коридора вышла старая женщина с белой тряпкой для пыли в руках. У нее были седые длинные волосы.

«Миссис Хэмпсток?» — спросил я.

Она склонила голову набок, посмотрела на меня. «Да. А я ведь вас знаю, молодой человек», — проговорила она. Я не молодой человек. Уже нет. «Я вас знаю, но когда доживаешь до моего возраста, все начинает путаться. Так кто вы?»

«Кажется, мне было около семи, может, восьми, когда я был здесь в последний раз».

Она улыбнулась: «Так вы друг Лэтти? С того конца проселка?»

«Вы мне давали молока. Парного, из-под коровы». И тогда я понял, сколько лет прошло, и поправился: «Нет, это были не вы, наверное, меня поила молоком ваша мама. Извините». Мы стареем и превращаемся в своих родителей; живем-живем и видим, как со временем лица повторяются. Я помнил миссис Хэмпсток, маму Лэтти, статной, дородной женщиной. Эта женщина была хрупкой и выглядела немощной. Как ее мать, старая миссис Хэмпсток.

Иногда в зеркале я вижу лицо своего отца, не мое лицо, и вспоминаю, как он улыбался себе, глядя в зеркало перед выходом из дома. «Хорош, — говорил он, бывало, своему отражению одобрительно. — Хорош».

«Вы пришли повидаться с Лэтти?» — спросила миссис Хэмпсток.

«А она дома?» Сама мысль удивила меня. Она же куда-то уехала, нет разве? В Америку?

Старушка покачала головой. «Я как раз собиралась ставить чайник. Не хотите ли чаю?»

Я помедлил. Потом попросил, если она не возражает, проводить меня сначала к пруду.

«К пруду?»

Я знал, что Лэтти как-то странно его называла. Это я помнил. «Она звала его морем. Как-то так».

Старушка положила тряпку на буфет. «Вы же не выпьете воды из моря? Слишком солоня. Это как пить живую кровь. Помните, как дойти? Чтобы попасть туда, обогните дом. Просто идите по дорожке».

Если бы час назад вы спросили меня, я ответил бы — нет, я не помню, как дойти. Даже не думаю, что вспомнил бы имя Лэтти Хэмпсток. Но в этой прихожей все возвращалось ко мне. Воспоминания ждали меня, проступая сквозь контуры предметов, и звали к себе. Скажи вы, что мне снова семь, и на мгновение я бы почти поверил.

«Спасибо!»

Я вышел во двор. Прошел мимо курятника, за старый амбар и двинулся по полю вдоль края, узнавая места, припоминая, что мне встретится дальше, и радуясь этому знанию. На этой стороне луга выстроились в ряд кусты орешника. Я сорвал пригоршню незрелых орехов и опустил их в карман.

Сейчас будет пруд, подумал я. *Нужно только обойти этот сарай, и я его увижу.*

Я его увидел и почувствовал себя до странного гордым, будто с пробуждением памяти тревоги дня отступили.

Пруд был меньше, чем я его помнил. На дальнем берегу стоял маленький деревянный сарай, а у дорожки — старинная тяжелая скамья из дерева и металла. С досок облезала краска, их выкрасили в зеленый несколько лет назад. Я присел на скамью и стал смотреть, как отражается небо в воде, собирается ряска на водной кромке и плавают полдюжины листьев кувшинки. Время от времени я бросал орех в середину пруда — пруда, который Лэтти Хэмпсток называла...

Морем или как-то ещё?

А сейчас Лэтти Хэмпсток, верно, была старше меня. Но, судя по тому, как она тогда чудно выражалась, всего на несколько лет. Ей было одиннадцать. А мне... сколько было мне? Это произошло после того неудачного дня рождения. Я точно помню. Так что мне, наверное, было семь.

Интересно, а в пруд мы не падали? Может, это я столкнул туда странную девочку, жившую на ферме в самом конце проселка? Мне помнилось, как она была вся в воде. Может, она тоже толкнула меня.

Куда она уехала? В Америку? Нет, в *Австралию*. Точно. Куда-то далеко-далеко.

И это было не море. Это был океан.

Океан Лэтти Хэмпсток.

Я вспомнил, и, вспомнив это, я вспомнил все.

На мой седьмой день рождения никто не пришел.

Стол ломился от фруктового мармелада и сливочно-ягодных десертов, возле каждой тарелки стояло по праздничному колпаку, посреди стола красовался торт с семью свечами. На нем глазурью была выведена книга. Мама, которая и занималась подготовкой праздника, сказала, что дама из булочной удивилась — они еще не рисовали на тортах книги, в основном для мальчиков заказывали футбольный мяч или космический корабль. Я — их первая книга.

Когда стало ясно, что никто не придет, мама зажгла свечи, и я их задул. Съел кусочек торта, моя младшая сестра и ее подруга тоже (они не участвовали в празднике, только смотрели), потом они помчались, пересмеиваясь, в сад.

Мама приготовила игры, но никого не было, даже сестры, игры лежали нетронутыми, и я сам развернул главный приз «Передай другому», там оказался пластмассовый Бэтмен. Было грустно, что никто не пришел, но зато у меня был свой Бэтмен, а еще подарок на день рождения, который ждал, пока я его прочту, — коллекционное издание книг про Нарнию. Я отнес книги к себе, растянулся на кровати и с головой ушел в чтение.

Читать мне нравилось. Как ни крути, книги были надежнее людей.

Еще родители подарили мне сборник «Лучшее из Гилберта и Салливана», у меня уже было две их пластинки. Я любил Гилберта и Салливана с трехлетнего возраста, с тех пор, как младшая сестра отца, моя тетка, повела меня на «Иоланту», оперу про лордов и фей. Мне казалось, что фей понять легче, чем лордов. Вскоре она умерла в больнице от лейкемии.

В тот вечер отец вернулся с работы и принес с собой картонную коробку. В коробке был пушистый черный котенок непонятного пола, он тут же получил имя Пушок и всю мою любовь без остатка.

Ночью Пушок спал со мной на кровати. Иногда, когда сестры не было рядом, я разговаривал с ним, немного надеясь, что он ответит по-человечески. Он не отвечал. Меня это не расстраивало. Котенок был ласковый и жадный до внимания — хороший товарищ для того, кто свой седьмой день рождения отпраздновал в компании стола с глазированными пирожными, бланманже, торта и пятнадцати пустых складных стульев.

Не помню, чтобы я спрашивал одноклассников, почему они не пришли ко мне на праздник. Мне не нужно было их спрашивать. В конце концов, они не были мне друзьями. Они просто учились в той же школе.

Я медленно сходил с людьми, если вообще сходил.

У меня были книги, а теперь и котенок. Я знал, мы будем, как Дик Уиттингтон и его кот, или, если Пушок окажется особенно смышленным, как сын мельника и Кот в сапогах. Котенок спал у меня на подушке, он даже ждал меня из школы, сидя на подъездной дорожке перед домом у ограды, пока через месяц его не задавило такси, в котором ехал добытчик опалов — он должен был квартироваться у нас.

Когда это случилось, меня не было дома.

Я вернулся из школы, а котенок меня не встречал. В кухне сидел долговязый поджарый мужчина со смуглой кожей и в клетчатой рубашке. Он пил кофе за столом, я почувствовал запах. Тогда весь кофе был растворимый, горький темно-коричневый порошок из жестяной банки.

«Боюсь, у меня тут небольшое происшествие, — начал он бодро. — Но чур, не волноваться». Он говорил необычно, будто рубил слова: я в первый раз слышал, как говорят южноафриканцы.

Перед ним на столе тоже стояла картонная коробка.

«Черный котенок был твой?» — спросил он.

«Его зовут Пушок», — сказал я.

«Ага. Я же сказал. Тут происшествие. Только не волноваться. От тела избавились. Тебе ничего делать не надо. Обо всем позаботились. Открывай коробку».

«Что?»

Он ткнул в коробку и повторил: «Открывай».

Добытчик опалов был высокого роста. Каждый раз, как я его видел, он был в джинсах и клетчатой рубашке, каждый раз, кроме последнего. Он носил на шее толстую цепь из светлого золота. В последний раз, когда я его видел, она тоже куда-то делась.

Я не хотел открывать коробку. Я хотел, чтобы меня оставили в покое. Мне хотелось плакать, потому что мой котенок умер, но я не мог, когда кто-то был рядом и смотрел на меня. Мне нужно было выплакать скорбь. Я хотел похоронить своего друга в дальнем конце сада, за кольцом фей, где кусты рододендрона, сплетаясь, образуют грот, у кучи из прелой травы, там, куда кроме меня никто не ходил.

Коробка шевельнулась.

«Купил для тебя, — произнес человек. — Всегда плачу по долгам».

Я потянулся к коробке, поднял крышку в надежде, что все это шутка, что там мой котенок. Оттуда на меня уставилась свирепая рыжая морда.

Добытчик опалов вытащил кота наружу.

Это был огромный, рыжий, полосатый котяра, у которого недоставало пол-уха. Он злобно глядел на меня. Коту не по нраву пришлось в коробке. Он не привык к коробкам. Я протянул руку погладить его по голове, но он отпрянул, чтобы я не достал, и зашипел, а потом отполз в дальний угол комнаты, сел там и стал смотреть на нас ненавидящим взглядом.

«Вот видишь. Баш на баш», — сказал добытчик опалов и потрепал меня по волосам своей заскорузлой рукой. Он вышел в коридор, оставив меня в кухне с котом, который не был моим котенком.

В дверном проеме снова показалась голова мужчины. «Его зовут Монстр», — сказал он.

Это напоминало дурную шутку.

Я оставил дверь кухни открытой, чтобы кот мог выйти. Поднялся наверх в комнату, лег на кровать и заплакал, я оплакивал умершего друга. Не думаю, что вечером, когда родители вернулись с работы, кто-то вспомнил в разговоре о моем котенке.

Монстр жил с нами около недели или чуть больше. Я накладывал ему в миску еды утром и вечером, как своему котенку. Обычно он сидел у двери и ждал, пока я или еще кто-нибудь не выпустит его. Мы видели, как он шныряет по саду от куста к кусту, лазает по деревьям или прячется в ветвях. За его перемещениями можно было следить по задушенным лазоревкам и дроздам, которых мы находили в саду, но сам он появлялся нечасто.

Мне очень не хватало Пушка. Я знал, что живое существо нельзя заменить просто так, но поговорить об этом с родителями не решался. Они бы не поняли моего горя: в конце концов, вместо убитого котенка мне дали нового. Ущерб возмещен.

Все это пришло мне на память, пока я сидел на зеленой скамье у маленького пруда, который, как уверяла когда-то меня Лэтти Хэмпсток, был океаном, все это вернулось ко мне, но я знал, что ненадолго.

Ребенком я не был счастлив. Иногда был доволен. Я больше жил в книгах, чем где-то еще.

В нашем доме было много места и много комнат; когда мы его купили и у отца водились деньги, это было хорошо, а потом — нет.

Однажды после обеда родители позвали меня к себе, ничего не объяснив. Я думал, что наверняка где-то набедокурил, и мне будут выговаривать, но нет: они лишь сказали, что теперь стеснены в средствах и что нам всем придется чем-то жертвовать, что мне придется жертвовать своей комнатой, крохотной комнаткой на самом верху. Я огорчился: мне в комнату поставили желтый умывальник, маленький, как раз для меня; комната располагалась над кухней, прямо у лестницы, которая спускалась в гостиную, так что ночью у себя наверху через приоткрытую дверь я слышал мерный гул взрослого разговора, и мне не было одиноко. И в моей комнате никто не возражал против незакрытой двери, пропускавшей достаточно света, чтобы не бояться темноты, и, что не менее важно, читать тайком в ночное время при рассеянном свете из коридора, если хочется. А читать мне хотелось всегда.

Из-за ссылки в просторную комнату сестры я не особенно горевал. Там уже стояло три кровати, я занял кровать у окна. Мне нравилось, что можно вылезать из него на длинный кирпичный балкон, спать, не закрывая окно, и чувствовать ветер и дождь на лице. Но мы с сестрой ссорились — ссорились из-за всего. И спала она с закрытой дверью; наш незамедлительно вспыхнувший спор оставлять дверь открытой или нет тут же разрешила мама — она повесила на дверь изнутри график, где мои ночи чередовались с сестринскими. С тех пор ночью я спал спокойно, если дверь была открыта, или ворочался от страха, если ее закрывали.

Моя бывшая комната на самом верху у лестницы сдавалась, и через нее прошла целая вереница чужаков. Я на всех смотрел с подозрением: они спали в моей комнате, пользовались моим маленьким желтым умывальником, по размеру как раз для меня. Тучная дама из Австралии, которая хвастала нам, что может снимать голову и ходить по потолку; студент-архитектор из Новой Зеландии; американская пара, которую мама, возмущенная, выставила, обнаружив, что они не женаты, а теперь добытчик опалов.

Он был южноамериканец, хоть и зарабатывал деньги на добыче опалов в Австралии. Мы с сестрой каждый получили от него опал, грубый темный камень с зелеными, синими, красными огоньками внутри. Сестру это подкупило, и она носилась со своим опалом. Я не мог простить добытчику смерть котенка.

Был первый день весенних каникул: впереди три недели, и никакой школы. Я проснулся рано — в радостном предвкушении бесконечных дней, когда можно делать все, что душе угодно. Читать. Узнавать новое.

Я натянул шорты, футболку, сандалии. Спустился в кухню. Отец готовил, а мама еще спала. Он надел фартук поверх пижамы. Он всегда готовил завтрак в субботу. Я спросил: «Пап! А где мои комиксы?» Каждую пятницу по дороге с работы он покупал мне свежий выпуск комиксов про супергероев, и в субботу утром я их читал.

«На заднем сиденье в машине. Хочешь тост?»

«Хочу. Только не горелый».

Отец не любил тостеров. Он готовил тосты на гриле, и обычно они подгорали.

Я выскочил из дома на подъездную дорожку. Огляделся по сторонам. Вернулся домой, толкнул дверь в кухню и вошел. Мне нравилась эта дверь в кухню. Она открывалась в обе стороны — наружу и внутрь — чтобы слуги шестьдесят лет назад могли свободно входить и выходить, даже если у них были полные руки тарелок.

«Пап? А где машина?»

«Стоит на дорожке».

«Там ее нет».

«Ка-ак нет?»

Зазвонил телефон, и отец вышел в коридор, чтобы снять трубку, телефон висел там. Я услышал, как он говорит с кем-то.

На гриле тост начал дымиться.

Я слез со стула и выключил гриль.

«Это из полиции, — сообщил отец. — Кто-то видел нашу брошенную машину на том конце проселка. Я сказал, что даже не успел еще заявить о краже. Вот так. Мы можем сейчас пойти туда, они нас там встретят. Тост!»

Он сдернул кусок хлеба с гриля. Тост дымился и почернел с одной стороны.

«А мои комиксы на месте? Или их украли?»

«Не знаю, полицейский про них ничего не сказал».

Отец смазал подгоревшую сторону тоста арахисовым маслом, сменил фартук на пальто, все так же, не снимая пижамы, надел туфли, и мы вместе направились вниз по проселку.

Мы шли уже, наверное, минут пять по узкой дороге меж полей, когда нас нагнал полицейский автомобиль. Он затормозил, и водитель поздоровался, окликнув отца по имени.

Я прятал за спиной свой горелый тост, пока отец разговаривал с полисменом. Мне было невдомек, почему наша семья не могла купить нормальный белый хлеб в нарезке, тот, что идет для тостеров, как любая другая известная мне семья. Отец нашел одну местную булочную, где пекли тяжелые, толстые буханки черного хлеба, и настойчиво покупал только их. Он утверждал, они лучше по вкусу, что мне казалось полной чушью. Настоящий хлеб был белый, в нарезке и почти безвкусный — вот какой.

Полисмен вышел из машины, открыл заднюю дверь и велел мне забираться туда. Отец поехал на переднем сиденье рядом с водителем.

Автомобиль двигался медленно. Проселок был тогда еще небогатый, грязный, ухабистый и суматошный, шириной не больше одной машины, покрытый липкой галькой, весь изрытый фермерскими тракторами, дождем и временем.

«Ох, уж эта мне ребячница, — ворчал полисмен. — Они думают, это смешно. Угнать машину, погонять ее по округе и бросить. Вот увидите, это местные».

«Я рад, что хотя бы нашлась быстро», — сказал отец.

Мы миновали «Тминный двор», оттуда выглянула девчушка с румянцем во всю щеку и с такими светлыми волосами, что они казались почти белыми, когда мы проезжали, она не сводила с нас взгляд. Я прятал свой горелый тост на коленях.

«Странно, однако, что они оставили ее здесь, — произнес полисмен. — Это же совсем на отшибе. Возвращаться пешком неудобно».

Проселок повернул, и мы увидели наш мини-автомобиль на краю дороги напротив ворот у поля, его колеса глубоко увязли в бурой грязи. Мы подъехали, припарковались рядом на траве у обочины. Полисмен выпустил меня из машины, и мы вдвоем направились к «мини», пока полисмен распространялся об уровне преступности в этих краях и доказывал, почему это точно сделали местные мальчишки, отец запасным ключом пытался открыть заднюю дверь.

Он сказал: «Здесь на заднем сиденье что-то оставили». Он наклонился и, несмотря на возражения полисмента, отдернул синее шерстяное одеяло, покрывавшее то, что лежало сзади, я неотрывно смотрел туда, потому что там обычно были мои комиксы, и увидел — там лежало оно.

То, что я увидел, не выглядело как человек, это было оно.

Хоть я и отличался живым воображением и мне снились ночью кошмары, я упрямил родителей взять меня в Лондон в Музей восковых фигур мадам Тюссо, когда мне было шесть лет, потому что хотел побывать в комнате страха — в той самой комнате с киношными монстрами из моих комиксов. Я ждал, что буду замирать от страха у восковой фигуры Дракулы, чудовища Франкенштейна и человека-оборотня. Вместо этого меня водили по бесконечной череде диорам с ничем не примечательными, угрюмыми мужчинами и женщинами, которые убивали людей — обычно своих квартиросъемщиков или родственников — и которых тоже потом убивали: вешали, сажали на электрический стул, в газовые камеры. Большинство было представлено вместе со своими жертвами в неуклюжих бытовых зарисовках — за обеденным столом, видимо, в ожидании, пока не умрут отравленные члены семьи. Таблички, объяснявшие, кто это был, также сообщали, что в основном люди убивали своих домочадцев, чтобы продать тела на нужды *анатомии*. Тогда-то слово «анатомия» приобрело для меня оттенок ужаса. Я не знал, что такое *анатомия*. Знал только, что она заставляет людей убивать собственных детей.

Пока меня водили по комнате страха, я не выбежал оттуда с криками лишь потому, что ни одна восковая фигура не выглядела полностью как настоящая. Они и не могли выглядеть, как настоящие мертвецы, потому что никогда не были живыми.

То, что лежало на заднем сиденье под синим шерстяным одеялом (Я *знал* это одеяло. Одеяло из моей старой комнаты, с полки, им укрывались, когда холодало), тоже не выглядело настоящим. Оно немного напоминало добытчика опалов, но было одето в черный костюм и белую рубашку с кружевным жабо и черным галстуком-бабочкой. Волосы были зачесаны назад и неестественно блестели. Губы отдавали синевой, а кожа очень покраснела. Это смотрелось пародией на здоровье. Золотой цепочки на шее не было.

Из-под него виднелся измочаленный край моих комиксов — с Бэтменом на обложке, который был точь-в-точь как в телевизоре.

Я не помню, кто и что говорил потом, помню только, что меня увели от «мини». Я перешел на другую сторону дороги и стоял там сам по себе, пока полисмен беседовал с отцом и что-то записывал в блокнот.

Я разглядывал «мини». От выхлопной трубы к окну со стороны водителя тянулся зеленый садовый шланг. Труба была густо обмазана бурой грязью, чтобы шланг не вывалился.

На меня никто не смотрел. Я откусил тост. Он был горелый и уже остыл.

Дома все самые горелые места у тоста ел отец. «Ням-ням! — приговаривал он. — Древесный уголь — полезно для здоровья!» или «Горелый тост! Любимый тост!» и съедал его целиком. Когда я был гораздо старше, он признался, что никогда не любил горелые тосты и ел их, только чтобы не отправлять в мусор — за долю секунды все мое детство стало ложью: как будто один из столпов веры, на которых зиждился мой мир, обратился в прах.

Полисмен стоял около своей машины и говорил по рации.

Затем пересек дорогу и подошел ко мне. «Извини, сынок, — сказал он. — Через минуту здесь будут еще машины. Надо бы найти, где тебе подождать, чтобы не мешаться под ногами. Хочешь, можешь опять сесть в мою машину?»

Я замотал головой. Там я больше сидеть не хотел.

Кто-то, какая-то девочка предложила: «Он может пойти ко мне на ферму. Это не доставит хлопот».

Она была намного взрослее меня, одиннадцати лет, не меньше. Волосы, коротковатые для девчонки, курносый нос. В веснушках. Красная юбка — в то время девочки не часто носили джинсы, не в этих краях. Мягкий сассекский выговор и пронзительные серые, с голубизной, глаза.

Полисмен и девочка отошли поговорить с моим отцом, ей разрешили взять меня с собой, и теперь я шел вместе с ней вниз по проселку.

Я заговорил первым: «Там, в нашей машине, человек умер».

«Да, он сюда за этим и приехал, — ответила она. — Конец дороги. В три часа ночи здесь его никто не найдет и не остановит. Да и земля здесь сырая, податливая».

«Думаешь, он покончил с собой?»

«Да. Ты любишь молоко? Ба как раз доит Бесси».

«Что, настоящее молоко, прямо из-под коровы?» — спросил я и тут же понял, что сказал глупость, но она утвердительно кивнула.

Я задумался. До этого я всегда пил молоко из бутылки. «Наверное, люблю».

Мы остановились у небольшого сарая, в нем старая женщина, гораздо старше моих родителей, с седыми длинными волосами, похожими на паутину, и худым лицом, стояла рядом с коровой. К коровьему вымени были приделаны длинные черные трубки. «Раньше мы их доили руками, — пояснила она. — Но так проще».

Она показала мне, как молоко идет по черным трубками от коровы к машине, через холодильную установку в большие металлические бидоны. Бидоны оставляли на массивном деревянном помосте около сарая, откуда их каждый день забирал грузовик.

Старушка подала мне стакан густого молока от коровы Бесси, парного молока, еще не попавшего в холодильную установку. До этого я ничего подобного не пил: оно разливалось полнотой вкуса во рту — наполняло его теплом и совершенным блаженством. Я помнил это молоко, даже когда забыл все остальное.

«Там, на проселке, их теперь еще больше, — сказала вдруг старая женщина. — Кого только нет, и едут с мигалками. Пустая морока. Отведи мальчика в кухню. Он голоден, что такое стакан молока для растущего организма».

«Ты уже ел?» — спросила девочка.

«Только один тост. Горелый».

Тут она представилась: «Меня зовут Лэтти. Лэтти Хэмпсток. А это ферма Хэмпстоков. Пойдем». Она провела меня через парадную дверь в невероятных размеров кухню, усадила за огромный деревянный стол, который со временем обзавелся таким количеством пятен и трещин, что казалось, будто сквозь старую древесину на меня смотрят какие-то лица.

«Мы здесь рано завтракаем, — объясняла девочка. — Дойка начинается на рассвете. Но в кастрюле еще осталась каша, и есть джем, чтобы в нее добавить».

Она подала мне с плиты пиалу с горячей кашей — в центре высилась горка домашнего ежевичного джема, моего любимого — и налила туда сливок. Перед тем как приняться за еду, я шумно размешал все ложкой, устроив в тарелке пурпурное месиво, и небывалое счастье вдруг захлестнуло меня. Вкус был великолепный.

Вошла крупная женщина. У нее были коротко стриженные каштановые волосы с проседью. Круглые щеки, темно-зеленая юбка до колен и резиновые сапоги. Она заговорила: «А это, должно быть, мальчик с того конца проселка. Там такое творится из-за этой машины. Скоро всех пятерых надо будет поить чаем».

Лэтти налила из-под крана воды в большой медный чайник. Зажгла спичкой газовую конфорку и поставила чайник на огонь. Потом взяла из буфета пять шербатовых кружек и на мгновение задумалась, вопросительно посмотрев на женщину. Та ответила: «Ты права. Шесть. Доктор тоже придет».

Тут женщина поджала губы и шикнула: «Тсс!» «Они прошляпили записку, — пояснила она. — Он старался-старался, писал ее, складывал, прятал в нагрудный карман, а они так туда и не заглянули».

«И что в ней?» — спросила Лэтти.

«Сама прочти», — предложила женщина. Я подумал, что это мама Лэтти. Она выглядела как чья-то мама. Она опять заговорила: «Там написано, что он взял все деньги, которые дали ему друзья, чтобы он положил их в Англии в банк, и деньги, вырученные им самим на многолетней добыче опалов, поехал играть в казино в Брайтон, но он не хотел брать чужие деньги. Он просто занял из денег друзей, чтобы отыграться».

«И все спустил, — подытожила женщина. — И жизнь померкла».

«Но он же не это написал, — возразила Лэтти, зажмурив глаза. — Он написал:

Всем моим друзьям,

Очень виноват, я не нарочно, и, надеюсь, ваше сердце сможет простить мне то, что я не могу простить себе сам».

«Это одно и то же, — бросила в ответ женщина и повернулась ко мне: — Я мама Лэтти, — начала она. — А мою мать ты уже видел — в коровнике. Я миссис Хэмпсток, но она стала миссис Хэмпсток еще до меня, так что она старая миссис Хэмпсток. А это ферма Хэмпстоков. Самая старая ферма в округе. Она занесена в Книгу Судного дня».

У меня на языке вертелся вопрос, почему все эти женщины звались Хэмпстоками, откуда они узнали о записке или о том, что думал добытчик опалов перед смертью, но я молчал, мне и в голову не приходило спросить. А знали они все досконально.

Лэтти сказала: «Я его слегка подтолкнула, он заглянет в нагрудный карман. Будет думать, что сам догадался».

«Вот и умница! — похвалила ее миссис Хэмпсток. — Как только чайник закипит, они явятся сюда спросить, не видела ли я чего-нибудь необычного, и выпить чаю. Может, ты отведешь мальчика к пруду?»

«Это не пруд, — поправила ее Лэтти. — Это мой океан. — Она повернулась ко мне и сказала: Пойдем». Мы вышли из дома тем же путем, что и пришли.

Снаружи все еще хмурилось.

Мы обогнули дом по коровьей тропе.

«Это правда океан?» — поинтересовался я.

«О да!» — ответила она.

Он возник неожиданно: деревянный сарай, старая скамья и между ними пруд, темный водоем с пятнами ряски и листьями кувшинки. На его поверхности, сверкая серебром, как старинная монета, плавала на боку мертвая рыба.

«Непорядок», — пробормотала Лэтти.

«Ты же говорила, это океан, — заметил я ей. — А это всего лишь пруд».

«Это и есть океан, — возразила она. — Когда я была совсем маленькой, мы приплыли по нему с нашей родины — из Древнего Края».

Лэтти пошла в сарай и вернулась с бамбуковым шестом, на конце которого было что-то вроде сачка для ловли креветок. Она наклонилась, аккуратно подвела сачок к мертвой рыбе. И вытащила ее.

«Подожди, ферма Хэмпстоков занесена в Книгу Судного дня, — решил уточнить я. — Твоя мама ведь так сказала. А это было еще при Вильгельме Завоевателе».

«Да», — подтвердила Лэтти.

Она вытащила рыбу из сетки и стала ее осматривать. Рыба, не успев еще окостенеть, была теплая и трепетала в ее руках. Мне еще не доводилось видеть такого соцветия: да, рыба была серебряной, но под слоем серебра играли синие, зеленые, фиолетовые отблески, и каждая чешуйка была с черным обводом.

«Что это за рыба?» — спросил я.

«Очень странно, — проговорила она. — В смысле, обычно рыба в этом океане вообще не умирает». Откуда ни возьмись в ее руках оказался складной нож с роговой рукояткой, она воткнула нож в рыбе брюхо и распорол его вдоль до хвоста.

«Вот что убило ее», — пояснила Лэтти.

Она достала что-то из рыбы. И сунула это что-то, скользкое и грязное от рыбьих кишок, мне в ладонь. Я нагнулся, опустил его в воду, потер пальцами, чтобы отчистить. И поднес к глазам. На меня смотрело лицо королевы Виктории.

«Шестипенсовик? — удивился я. — Рыба проглотила шестипенсовик?»

«Непорядок ведь?» — нахмурилась Лэтти Хэмпсток. Проглянуло солнце: оно высветило веснушки, которые гнездились у нее по щекам и на носу, а там, где солнечный луч касался ее волос, прядки отливали красной медью. Она вдруг спохватилась: «Твой отец беспокоится, куда ты пропал. Пора идти обратно».

Я попытался вернуть ей маленький серебряный шестипенсовик, но она лишь покачала головой. «Оставь себе, — сказала она. — купишь шоколадных конфет или лимонных леденцов».

«Нет, вряд ли, — возразил я. — Он слишком маленький. Не знаю, принимают ли такие сейчас в магазине».

«Тогда сунь его себе в свинью-копилку, — предложила она. — Может, он принесет тебе удачу». Она произнесла это задумчиво, как будто сомневалась, удачу ли он принесет.

Полисмен с моим отцом и еще двое мужчин в коричневых костюмах и галстуках стояли у Лэтти на кухне. Один из этих мужчин сказал, что он полисмен, но не носит униформу, и мне показалось это досадным: если бы я был полисменом, я бы со своей униформой не расставался. В другом мужчине я узнал доктора Смитсона, нашего семейного доктора. Они допивали свой чай.

Отец поблагодарил миссис Хэмпсток и Лэтти за то, что позаботились обо мне, те заверили его, что это не стоило большого труда и что они будут рады видеть меня снова. Полисмен, утром подбросивший нас до «мини», отвез нас обратно домой и высадил у подъездной дорожки.

«Наверное, лучше не рассказывать об этом твоей сестре», — сказал отец.

Я и не собирался никому рассказывать об этом. Я обнаружил необыкновенное место, у меня появился новый друг, пропали комиксы, а в руке я крепко сжимал старинный серебряный шестипенсовик.

Я только спросил: «Чем океан отличается от моря?»

«Он больше, — пояснил отец. — Океан намного больше моря. Почему ты спрашиваешь?»

«Просто так, — сказал я. — А океан может быть маленьким, как пруд?»

«Нет, — ответил отец. — Пруд, он размером с пруд, озеро — размером с озеро. Моря есть моря, а океаны есть океаны. Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый. Кажется, больше океанов и нет».

Отец поднялся к себе в комнату поговорить с мамой и чтобы телефон был под рукой. Я опустил серебряный шестипенсовик в свинью-копилку. Она была из тех фарфоровых свиной-копилки, откуда ничего обратно не вытащишь. Однажды, когда монеты туда больше не будут пролезать, мне разрешат ее разбить, а пока в ней оставалось еще много места.

3

Больше я нашего «мини» не видел. Через два дня, в понедельник, отцу по заказу привезли черный «ровер» с потрескавшимися сиденьями из красной кожи. Он был больше «мини», но не такой удобный. Запах старых сигар вьелся в кожаную обивку, и от долгих поездок на заднем сиденье в «ровере» нас всегда укачивало.

В понедельник утром доставили не только черный «ровер». Еще мне принесли письмо.

Мне было семь лет, но я никогда не получал писем. Мне приходили открытки на день рождения от бабушек и дедушек, от Эллен Хендерсон, подруги моей матери, которую я лично не знал. На день рождения Эллен Хендерсон, жившая в передвижном трейлере, обычно присылала мне носовой платок. Но даже и так я каждый день бегал к почтовому ящику проверить, не пришло ли что-нибудь мне.

И этим утром кое-что пришло.

Распечатав его, я так и не понял, что это, и понес письмо маме.

«Ты выиграл в лотерею», — объяснила она.

«Как это?»

«Когда ты родился — с рождением каждого внука бабушка покупала по билету Национальной лотереи. И когда выпадают указанные на нем числа, ты можешь выиграть сотни тысяч фунтов стерлингов».

«Я выиграл сотни тысяч фунтов стерлингов?»

«Нет. — Она взглянула на полоску бумаги. — Ты выиграл тринадцать фунтов стерлингов и одиннадцать шиллингов».

Я огорчился, что не выиграл сотни фунтов стерлингов (Я уже знал, что куплю на них. Место, куда можно пойти и побыть одному, как пещера Бэтмена, с потайным входом), но все равно было приятно обладать некоторым состоянием, превосходившим мои прежние мечты. Тринадцать фунтов стерлингов и одиннадцать шиллингов. Можно было купить четыре маленьких лакричных тянучки «Черный Джек» или фруктовые жевательные конфеты в ярких желтых фантиках за пенни: каждая из них стоила фартинг, хотя фартингов тогда уже не было в ходу. Тринадцать фунтов стерлингов и одиннадцать шиллингов, если в одном фунте стерлингов 240 пенсов, и на каждый пенни приходится по четыре конфеты, то это было столько сладостей, сколько я не мог себе сразу представить.

«Я положу их тебе на счет», — сказала мама, возвращая меня на землю.

К конфетам, что мне дали утром, сладостей не прибавилось. Но даже так я был богачом. На тринадцать фунтов стерлингов и одиннадцать шиллингов богаче, чем всего секунду назад. Я еще никогда ничего не выигрывал, никогда.

Я попросил маму показать мне лотерейный билет и мое имя на нем, прежде чем она уберет его к себе в сумку.

Было утро понедельника. После обеда древний мистер Уоллери, приходивший по понедельникам и четвергам после обеда садовничать (миссис Уоллери, его не менее древняя супруга, которая носила поверх туфель галоши, полупрозрачные резиновые ботинки, приходила после обеда по средам убираться), копал овощные грядки и наткнулся на бутылку с пенсами, монетами в полпенни, в три пенса и даже фартингами. Все монеты датировались самое позднее 1937 годом, и я провел вторую половину дня, начищая их до блеска вустерским соусом и уксусом.

Бутылку со старинными монетами мама поставила на каминную полку в столовой, сказав, что, может, какой-нибудь нумизмат заплатит за них пару фунтов стерлингов.

Вечером я отправился спать в счастливом возбуждении. Я был богат. Нашлось зарытое сокровище. Этот мир — хорошее место.

Я не помню, как уснул. Но так обычно и засыпают? Знаю, что был в школе, что день не задался, что я прятался от каких-то мальчишек, которые колотили меня и обзывали, но они везде меня находили, даже в густых зарослях рододендрона за школой, и я знал, что это должен быть сон (но во сне я не знал, что это была явь и все взаправду), потому что с ними был дедушка и его друзья, старики с землистого цвета лицами, кашлявшие сухим мелким кашлем. В руках они сжимали острые карандаши, вроде тех, от которых идет кровь, когда уколешься. Я бежал от них, но эти старики и эти большие мальчишки были быстрее, они нагнали меня в туалете, где я обычно прятался в одной из кабинок. Они схватили меня и стали силком разжимать рот.

У дедушки (только это был не мой дедушка: на самом деле это была восковая фигура дедушки, которая хотела продать меня на нужды *анатомии*) в руках было что-то тонкое и блестящее, он принялся запихивать мне это в рот своими скрюченными пальцами. Оно было твердое, острое и знакомое, я подавился и начал задыхаться. Во рту появился металлический привкус.

А люди в туалете стояли и смотрели на меня злым торжествующим взглядом, я старался не задохнуться, твердо решив не доставлять им такого удовольствия.

Я проснулся, задыхаясь.

Мне не хватало воздуха. Что-то застряло у меня в горле, что-то твердое, острое, оно не давало дышать или позвать на помощь. Проснувшись, я начал кашлять, по щекам бежали слезы, из носа текло.

От отчаяния и страха я отважился и сунул пальцы как можно глубже в рот. Кончик указательного пальца уперся в край чего-то твердого, я, задыхаясь, нащупал средним пальцем обратную сторону предмета, сжал его и вытащил из горла.

Жадно глотнул воздуха, и меня стошнило прямо на простыни, вышло немного слизи перемешку с кровью — я порезался, пока вытаскивал непонятный предмет.

Я не посмотрел, что это было. Липкое от слюны и слизи, оно лежало у меня в ладони. И я не хотел на него смотреть. Я хотел, чтобы оно исчезло, чтобы не было этого моста между сном и явью.

Я помчался по коридору в ванную, вниз — в дальний конец дома. Я полоскал рот, пил холодную воду из-под крана, сплевывал красную слизь в белую раковину. И только когда закончил, присел на край белой ванны и разжал руку. Я испугался.

Но то, что лежало у меня в руке — то, что оказалось у меня во рту — не было страшным. Это была монета: серебряный шиллинг.

Я пошел обратно в комнату. Оделся, почистил, как мог, испачканные простыни мокрым полотенцем. Я надеялся, они успеют высохнуть до того, как я отправлюсь спать вечером. Затем спустился вниз.

Мне хотелось рассказать кому-нибудь об этом шиллинге, но я не знал кому. Я достаточно разбирался во взрослых, чтобы понимать — если я все-таки расскажу, мне вряд ли поверят. Мне и так не особенно верили, даже когда я говорил правду. С чего бы им верить, когда на правду совсем не похоже?

В саду за домом играла сестра со своими друзьями. Завидев меня, она подбежала и сердито крикнула: «Ненавижу тебя. Все расскажу маме и папе, когда они вернутся».

«Что расскажешь?»

«Сам знаешь, — сказала она. — Я знаю, это был ты».

«Где был я?»

«Бросал монеты в меня. В нас. Из кустов. Это просто отвратительно!»

«Но я не бросал».

«Это же больно!»

Она вернулась к друзьям, они все тарасились на меня. Горло драло, глотать было больно.

Я пошел по дорожке прочь от дома. Не знаю, куда я собирался идти, — мне просто не хотелось больше там находиться.

У края дорожки под каштанами стояла Лэтти Хэмпсток. Выглядела она так, будто ждала здесь добрую сотню лет и могла прождать еще сто. На ней было белое платье, но солнечный свет, пробиваясь сквозь молодые весенние листья каштана, оставлял на нем зеленые пятна.

«Привет!» — поздоровался я.

Она спросила: «Тебе ведь снились кошмары?»

Я вытащил из кармана шиллинг и показал ей. «Чуть не задохнулся из-за него, — пояснил я, — когда проснулся. Ума не приложу, как он попал мне в рот. Если бы кто-то мне его попытался засунуть туда, я бы почувствовал. Но я проснулся, а он уже там».

«Да», — подтвердила она.

«Сестра говорит, это я бросал в них монеты из кустов, но это не я».

«Нет, — согласилась она. — Не ты».

Я спросил: «Лэтти? Что происходит?»

«Что-что, — сказала она, как будто все было ясно. — Просто кто-то пытается дать людям деньги, вот и все. Но делает это очень дурно и бережит сон того, кому надлежало бы спать. А это непорядок».

«Это как-то связано с умершим человеком?»

«Как-то связано. Да».

«Это он делает?»

Она отрицательно покачала головой. И спросила: «Ты уже завтракал?»

Я тоже покачал головой.

«Ну, тогда пойдем», — предложила она.

И мы пошли вниз по проселку вместе. То тут, то там нам попадались дома, мы проходили мимо, Лэтти Хэмпсток указывала на дом и что-нибудь рассказывала. «В этом доме человеку приснилось, будто его продали и превратили в деньги. Теперь ему в зеркале все время что-то мерещится».

«В смысле, что-то?»

«Он видит себя. Но из глаз лезут пальцы. И что-то лезет изо рта. Наподобие щупальцев краба».

Я представил, как люди глядятся в зеркало и у них изо рта вылезают щупальца краба. «Почему у меня во рту оказался шиллинг?»

«Он хотел, чтобы у людей были деньги».

«Добытчик опалов? Который умер в машине?»

«Да. В каком-то смысле. Не прямо так. Началось все с него, это как зажечь фитиль от фейерверка. Его смерть стала спичкой. Но то, что готово взорваться сейчас, это не он. Это кто-то другой. Что-то другое».

Она поскребла свой веснущатый нос грязной рукой.

«Здесь хозяйка сошла с ума, — продолжила свой рассказ Лэтти, и мне бы в голову не

пришло сомневаться в ее словах. — У нее в матрас зашиты деньги. И теперь она не хочет вылезать из постели, чтобы их не украли».

«Откуда ты знаешь?»

Она пожала плечами. «Стоит пожить здесь какое-то время, и ты понимаешь, что к чему».

Я пнул ногой камень. «„Какое-то время“ — это значит „долго-предолго“?»

Она кивнула.

«А сколько тебе лет на самом деле?» — спросил я.

«Одиннадцать».

Я подумал немного. Потом снова спросил: «И сколько уже лет тебе одиннадцать?»

Она улыбнулась мне.

Мы прошли «Тминный двор». Там стояли хозяева, которые, как я потом узнал, были родителями Келли Андерс, они кричали друг на друга. А увидев нас, затихли.

Когда мы скрылись за поворотом, Лэтти сказала: «Вот бедные».

«Почему бедные?»

«Потому что у них трудно с деньгами. А сегодня под утро ему приснилось, что она... она занимается дурными вещами. Чтобы подзаработать. Он обшарил ее сумочку и обнаружил целый рулон из банкнот по десять шиллингов. Она клянется, что не знает, откуда они взялись, но он ей не верит. Он не знает, чему верить».

«Все эти ссоры, сны. Это все из-за денег?»

«Не уверена», — ответила Лэтти и показалась мне такой взрослой, что я ее почти испугался.

«Что бы это ни было, — сказала она, поразмыслив, — это все можно выправить. — Она увидела мое лицо, обеспокоенное. Даже напуганное. И добавила: — Но сначала блины».

Блины Лэтти пекла нам в большой металлической сковородке на плите в кухне. Они получались не толще бумаги, блин готовился, Лэтти отжимала над ним лимон, в самую середину плюхала сливового джема и плотно скручивала в трубочку, как сигару. Когда блинов стало вдоволь, мы сели за кухонный стол и съели их с большой жадностью.

На кухне стоял очаг, в нем еще теплились угли со вчерашней ночи. В этой кухне мне ничего не грозит, подумал я.

«Мне страшно», — признался я Лэтти.

Она улыбнулась. «Я прослежу, чтобы с тобой ничего не случилось. Обещаю. Мне не страшно».

А мне все еще было страшно, но уже не так сильно. «Просто все это жутко».

«Я же пообещала, — заверила меня Лэтти Хэмпсток. — Я не позволю, чтобы тебе навредили».

«Навредили? — раздался высокий, скрипучий голос. — Кому навредили? Как навредили? Почему кому-то должны навредить?»

Это была старая миссис Хэмпсток, она придерживала за края передник, где в подоле теснилось столько нарциссов, что их отраженный свет делал ее лицо золотым, и казалось, будто вся кухня залита солнечным светом.

Лэтти стала объяснять: «Что-то неладно. Что-то дает людям деньги. Во сне и наяву». Она показала старушке мой шиллинг. «Мой друг утром проснулся, задыхаясь — у него в горле застрял этот шиллинг».

Старая миссис Хэмпсток опустила передник на стол и стала быстро выгружать нарциссы на деревянную столешницу. Потом взяла у Лэтти шиллинг. Посмотрела на него, сощурившись, обнюхала, потерла, послушала (во всяком случае, поднесла к уху) и провела по нему кончиком своего фиолетового языка.

«Он новый, — заключила она. — На нем написано тысяча девятьсот двенадцатый год, но еще вчера его не было и в помине».

Лэтти согласилась: «Я знала, что с ним что-то не так».

Я взглянул на старую миссис Хэмпсток: «А как вы узнали?»

«Хороший вопрос, милоч. Главным образом по электронному распаду. Чтобы увидеть электроны, нужно смотреть на вещи пристально. Они махонькие такие, похожи на крохотные улыбки. А нейтроны серые и вроде как хмурные. Эти электроны чуть-чуть улыбистей, чем нужно для тысяча девятьсот двенадцатого года, так что я прошлась по краям букв, по голове старого короля, и грани оказались чуток острее и четче. Даже там, где они сносились, это выглядит словно их нарочно сточили».

«Должно быть, у вас очень хорошее зрение», — заметил я восхищенно. Она вернула мне монету.

«Уже не такое как прежде, но вот доживешь до моих лет, тоже зоркости поубавится». И она громко хохотнула, будто сказала что-то смешное.

«А сколько мне еще жить до этих ваших лет?»

Лэтти глянула на меня, и я с беспокойством подумал, что сказал грубость. Иногда взрослым не нравилось, что их спрашивают про возраст, а иногда нравилось. Мой опыт говорил, что старым людям нравилось. Они гордились своим возрастом. Миссис Уоллери было семьдесят семь, а мистеру Уоллери — восемьдесят девять, и они любили рассказывать, сколько лет им исполнилось.

Старая миссис Хэмпсток подошла к буфету и взяла несколько ярких цветастых ваз. «Еще порядочно, — ответила она. — Я помню, как луна родилась».

«А она разве не всегда была?»

«Господь с тобой! Ничуть не бывало. Я помню день, когда появилась луна. Мы смотрели на небо — оно тогда было грязно-бурое, закоптелое, в серых разводах, не зеленое и не синее...» Она поставила вазы в раковину и каждую наполнила до половины водой. Потом достала почерневшие кухонные ножницы и принялась обрезать нарциссы, по полдюйма от каждого стебля.

Я снова спросил: «А это точно не призрак того человека? Может, это он нас преследует?»

И девочка, и старая женщина засмеялись, я почувствовал себя дураком. И поспешно извинился: «Простите».

«Привидения не могут ничего создавать, — разъяснила мне Лэтти. — Они даже двигать вещи толком не могут».

Тут старая миссис Хэмпсток сказала ей: «Сходи за матерью. Она стирает». — А затем — мне: «Ты пособишь мне с нарциссами».

Я помогал ей расставлять цветы по вазам, а она спрашивала моего совета, где их лучше разместить в кухне. Мы ставили вазы туда, куда я говорил, и я чувствовал себя необычайно важным.

В этой кухне среди мебели темного дерева нарциссы стояли как заплатки из солнечного света, добавляя ей яркости. На полу — красная плитка. Стены выбелены известкой.

Старушка подала мне выщербленное блюдо с куском пчелиной соты из улья Хэмпстоков и добавила немного сливок из молочника. Я ел соту ложкой, пережевывая воск, как жвачку, мед растекался во рту, сладкий, клейкий, цветочный.

Я выскребывал из блюда остатки сливок и меда, когда в кухне появились Лэтти и ее мама. На миссис Хэмпсток все еще были резиновые сапоги, и она влетела в комнату, будто очень спешила. «Мама! — воскликнула она. — Кормить мальчика медом! Ты же испортишь ему зубы».

Старая миссис Хэмпсток повела плечами. «Я переговорю с этой неумной мелкотней у него во рту, — заверила она. — Они не тронут его зубы».

«Ты же не можешь вот так командовать бактериями, — возразила миссис Хэмпсток. — Они этого не любят».

«Сущий вздор, — отмахнулась старушка. — Дай им только волю, и они совсем распяшутся. А покажешь, кто тут главный, они все сделают, только б тебя умаслить. Ты же пробовала мой сыр. — Она обернулась ко мне. — Я за свой сыр медали получала. Медали! В стародавние времена, бывало, на лошади неделю скакали, лишь бы купить головку моего сыра. Даже поговаривали, что сам король ест мой сыр с хлебом, а королевичи — Дикон, Джеффри и даже маленький Джон клялись, что лучше моего сыра отродясь не едали...»

«Ба», — одернула ее Лэтти, и старушка осеклась.

Мама Лэтти сказала: «Тебе понадобится ореховый прут. И... — добавила она задумчиво, — я думаю, можно взять с собой мальчика. Это его шиллинг, с ней легче справиться, если он будет с тобой. Если будет что-то, что она сама сделала».

«Она?» — удивилась Лэтти.

Девочка держала в руках складной нож с роговой рукояткой, лезвие было спрятано.

«Похоже, что она, — ответила мама Лэтти. — Но учти, я могу ошибаться».

«Не бери с собой мальчика, — вмешалась старая миссис Хэмпсток. — Накличешь беду».

Я расстроился.

«Все будет хорошо, — заверила ее Лэтти. — Я о нем позабочусь. И о себе тоже. Будет нам приключение. И вместе оно веселей. Ба, ну пожалуйста?»

Я с надеждой смотрел на старую миссис Хэмпсток и ждал.

«Не говори, что я тебя не предупреждала, если все пойдет наперекосяк», — проворчала старая миссис Хэмпсток.

«Ба, спасибо! Я тебе слова в упрек не скажу. И буду глядеть в оба».

Старая миссис Хэмпсток шмыгнула носом. «Ну, тогда смотри, не напортачь. Подходи осторожно. Свяжи, перекрой все отходные пути и усыпи».

«Да знаю я, — сказала Лэтти. — Все наизусть знаю. Честно. Все обойдется».

Вот что она сказала. И не обошлось.

Лэтти повела меня в заросли лещины у старой дороги (по весне ветви орешника клонились под тяжестью сережек) и выломала прут. Ножом очистила его от коры так, будто делала это уже мириады раз, укоротила, и прут стал похож на рогатку. Она спрятала нож (я так и не понял куда) и взяла по концу рогатки в каждую руку.

«Это — не волшебная лоза, — объяснила она. — Просто проводник. Думаю, для начала мы ищем синюю... синюю бутылку. Или что-то фиолетово-синее и блестящее».

Мы огляделись. «Я ничего такого не вижу».

«Еще увидишь», — заверила она меня.

Я снова глянул вокруг и выхватил взглядом бурую, с рыжиной, курицу, клевавшую что-то в траве на краю подъездной дорожки, ржавый трактор, деревянный стол-помост рядом с дорогой и на нем шесть пустых металлических бидонов из-под молока. Я увидел дом Хэмпстоков из красного кирпича, который высился, как громадный кот, в дреме поджавший лапы. Весенние цветы — заполонившие всё белые и желтые ромашки, золотистые лютики (лютик верный даст ответ, любишь масло или нет), одуванчики и в тени под молочным помостом запоздалого весеннего гостя — одинокий колокольчик, еще блестящий от ро...

«Он?» — выкрикнул я.

«А у тебя меткий глаз», — похвалила она.

Мы направились к колокольчику. Когда мы с ним поравнялись, Лэтти зажмурилась. Ее тело задергалось во все стороны вместе с выставленным вперед ореховым прутком, как будто сама она была стрелкой часов или компаса, а руки ее вросли в рогатку и направляли нас на какой-то восток или север, не доступные моему зрению. «Черное, — вдруг проговорила она, словно описывала что-то увиденное во сне. — И мягкое».

Мы оставили колокольчик и двинулись вдоль проселка, который, как мне иногда казалось, проложили еще древние римляне. Мы прошли сотню ярдов и у места, где нашелся «мини», она обнаружила это: клочок черной ткани на колючей ограде.

Лэтти приблизилась к нему. Снова выставленный вперед прут, снова и снова медленное вращение. «Красный, — уверенно сказала она. — Ярко-красный. Туда».

Мы пошли в указанном направлении. Через пойменный луг в перелесок. «Вон», — показал я, замороженный. На подстилке из зеленого мха лежало крохотное тельце какого-то животного — по виду полевки. У него не было головы, на шубке и среди ворсинок мха алели бусины крови. Ярко-красные.

«Теперь, — напутствовала Лэтти, — держи меня за руку. Не отпускай!»

Своей правой рукой я схватил ее левую руку, чуть ниже локтя. Она поводила рогаткой и решила: «Сюда».

«А что мы теперь ищем?»

«Мы подходим ближе, — сказала она. — Теперь нам нужна гроза».

Мы продирались сквозь ветви, тесно прижавшись друг к другу, пролесок густел, и листва деревьев смыкалась над нами плотным пологом. Мы отыскивали прогалину и шли вдоль нее, все вокруг стало зеленым.

Слева послышалось глухое ворчание дальнего грома.

«Гроза», — пропела Лэтти. И вновь закружилась, а вместе с ней и я. В тот момент, держа ее за руку, я чувствовал, или мне казалось, что чувствовал, как меня трясет, будто я держусь за мощный двигатель.

Мы опять сменили направление. Вместе перебрались через узкий ручей. Тут она вдруг остановилась, споткнулась, но не упала.

«Мы на месте?» — оживился я.

«Нет, — сказала она. — Еще нет. Оно знает, что мы идем. Оно нас чувствует. И не хочет, чтобы мы до него добрались».

Ореховый прут завертелся в руках, как магнит у отталкивающего полюса. Лэтти улыбнулась.

Порыв ветра швырнул листьев и земли нам в лицо. На отдалении погромыхивало, будто шел поезд. Разглядеть что-либо становилось все труднее, а небо, пробивавшееся сквозь толщу листьев, было темным, как если бы у нас над головами собрались тяжелые грозовые тучи или утро разом перешло в сумерки.

Лэтти крикнула: «Пригнись!» и прикинула к покрытой мхом земле, утягивая меня за собой. Она лежала ничком, я — подле нее, чувствуя себя немного глупо. Земля была влажной.

«Сколько нам еще?..»

«Ш-ш-ш!» — шикнула она на меня почти злобно. Я замолк.

Что-то пробиралось сквозь ветви над нашими головами. Я поднял голову и увидел нечто коричневое, мохнатое и в то же время плоское, как гигантский ковер с хлопающими, загибающимися краями, с лицевой стороны у ковра была пасть, она щерилась множеством мелких острых зубов и смотрела вниз.

Хлопая, оно проплыло над нами и исчезло.

«Что это было?» — спросил я, и мое сердце билось в груди так сильно, что я не знал, смогу ли снова стоять на ногах.

«Шкурволк, — ответила Лэтти. — А мы зашли дальше, чем я думала». Она поднялась и смотрела вслед мохнатому чуду. Потом выставила вперед ореховый прут и стала медленно поворачиваться.

«Ничего не чувствую». Она тряхнула головой, чтобы убрать с глаз волосы, не выпуская из рук рогатки. «Либо оно прячется, либо мы подошли слишком близко». Она закусил губу. И попросила: «Шиллинг. Ну, тот, что был у тебя во рту. Достань его».

Левой рукой я вынул его из кармана и протянул ей.

«Нет, — отказалась она. — Мне нельзя до него дотрагиваться, не сейчас. Положи на рогатку у самой развилки».

Я не спросил зачем. Просто положил серебряный шиллинг, куда было сказано. Лэтти вытянула руки, медленно поворачиваясь и направляя конец ореховой ветки прямо вперед. Я двигался с ней, но ничего не чувствовал. Никаких вибрирующих двигателей. Мы уже прошли полкруга, когда она, замерев, сказала: «Смотри!»

Я посмотрел, куда было обращено ее лицо, но увидел только деревья и тени между ветвями.

«Нет, сюда смотри». Она сделала знак головой.

На конце ореховый прут слегка дымился. Она повернулась немного влево, немного вправо, снова чуть вправо, и конец ветки начал светиться ярко-оранжевым светом.

«Никогда раньше такого не видела, — удивилась Лэтти. — По идее монета должна усиливать сигнал, а тут...»

«Пиши-буум!» и на конце рогатки вспыхнуло пламя. Лэтти ткнула ее в мокрый мох. Она велела мне забрать монету, что я и сделал, осторожно подхватив шиллинг пальцами, на случай если он разогрелся, но он был холодным как лед. Она оставила ореховый прут лежать на земле, его обугленный конец все еще сильно дымился.

Лэтти шла дальше, я шел рядом. Теперь мы держались за руки: моя правая ладонь была зажата в ее левой руке. В воздухе пахло странно, как от фейерверка, мы углублялись в

лес, и с каждым шагом вокруг становилось все темнее.

«Я же говорила, что не дам тебя в обиду?» — напомнила Лэтти.

«Да».

«Я обещала, что не позволю тебе навредить».

«Да».

«Просто держи меня за руку, — продолжала она. — Не отпускай. Что бы ни случилось, только не отпускай».

Ее ладонь была теплой, но не потной. Это вселяло уверенность.

«Держи за руку, — повторила она. — И ничего не делай, пока я тебе не скажу. Понял?»

«Мне все равно как-то не по себе», — заметил я.

Она не пыталась меня обнадежить. Лишь сказала: «Мы зашли дальше, чем я себе могла представить. Дальше, чем я ожидала. Я даже точно не знаю, что за твари здесь, на границах, живут».

Деревья расступились, и мы вышли на открытую местность.

Я спросил: «А далеко мы от вашей фермы?»

«Нет. Мы все еще в ее пределах. Ферма Хэмпстоков простирается далеко-далеко. Мы много чего забрали из Древнего Края, когда приплыли сюда. Ферма явилась с нами и притащила с собой других своих обитателей. Ба называет их блохами».

Я не знал, куда мы зашли, но мне не верилось, что мы все еще на земле Хэмпстоков, и этот мир не похож был на тот, где я вырос. Небо здесь светилось тусклым оранжевым светом, какой дает аварийная лампа; растения, покрытые шипами, похожие на огромные косматые алоэ, были темно-зеленого цвета и поблескивали серебром, точно их отлили из оружейной бронзы.

Монета у меня в левой руке, разогревшись в ладони, снова начала остывать, пока не стала на ощупь, как кубик льда. Своей правой рукой я изо всех сил сжал ладонь Лэтти Хэмпсток.

«Все, — сказала она. — Мы на месте».

Сначала я подумал, что передо мной какое-то сооружение: оно было похоже на шатер величиной с деревенскую церковь, из серой и розовой холщовой ткани, рвущейся во все стороны под порывами штормового ветра в этом оранжевом небе — сооружение кренилось набок, обветшалое, побитое временем и непогодой.

И тут оно повернулось, я увидел его лицо, услышал чье-то поскуливание, так скулит собака, которую пнули ногой, а потом до меня дошло, что поскуливал я.

Вместо лица были лохмотья, вместо глаз — две глубокие щели в ткани. За ними — пустота, просто серая маска из дерюги, намного больше, чем я вообще мог себе представить, вся в клочьях и дырах, парящая в потоках сильного ветра.

Что-то сдвинулось, и груда рванья нависла над нами.

Лэтти Хэмпсток приказала: «Назови себя».

Молчание. Два пустых глаза таращились на нас сверху вниз. Затем раздался голос, бестелесный, как шелест ветра: «Я хозяйка этого места. Я поселилась здесь давным-давно. Еще до того, как люди стали приносить в жертву друг друга на скалах. Мое имя принадлежит мне, дитя. Оно не твое. А теперь оставь меня в покое, пока я всех вас не развеяла по ветру». Точно рваный парус, взметнулась в воздух ее тряпка-рука, и меня охватил озноб.

Лэтти Хэмпсток сжала мою ладонь, и я приободрился. Она заговорила: «Слышь, ты, я

велела назвать себя. Не брехать про старость и время. Не скажешь, как тебя звать, и пеняй на себя». Ее слова звучали как никогда просторечно, по-деревенски. Может быть, из-за злости в голосе: когда она злилась, ее речь звучала иначе.

«Нет, — прошелестело спокойно тряпичное существо. Девочка, девочка... кто твой друг?»

Лэтти шепнула: «Молчи». Я закивал и крепко сжал губы.

«Мне это начинает надоедать, — подала голос серая грудка лохмотьев, раздраженно всплеснув рваными руками. — Что-то явилось ко мне с мольбой о любви и помощи. Оно поведало, как осчастливить всех подобных ему. Они — существа простые, все, что им нужно, — это деньги, только деньги, и ничего больше. Маленький кругляшок-за-работу. Если бы оно попросило, я бы дала ему мудрость или покой, абсолютный покой...»

«А ну, хватит! — приказала Лэтти Хэмпсток. — Тебе нечего дать им. Не лезь к ним».

Налетел ветер, и громадная фигура закачалась в потоке воздуха, словно корабль с огромными парусами, а когда ветер стих, положение ее изменилось. Казалось, она подлетела ближе к земле и изучает нас, как тряпичный великан-ученый, разглядывающий двух белых мышек.

Двух очень напуганных мышек, сцепившихся лапками.

Теперь рука у Лэтти была влажной. Она стиснула мою ладонь — подбодрить ли меня или себя, не понятно, но я сжал ее руку в ответ.

Рваное лицо, то место, где должно было быть лицо, искривилось. Я подумал, что оно улыбалось. Наверное, улыбалось. Я чувствовал, как оно всматривается в меня, в каждую клеточку. Как будто оно знало обо мне все — даже то, что я сам о себе не знал.

Девочка, державшая меня за руку, пригрозила: «Не назовешься, свяжу тебя, как безмянную вещь. И будешь связанная, привязанная, запечатанная яко призрак какой или баргест».

Она замолкла, существо не отвечало, и Лэтти Хэмпсток начала произносить непонятные слова. Временами она говорила, временами это напоминало песню на неведомом языке, который я до этого никогда не слышал и который больше мне не довелось услышать. А вот мотив я знал. Это была старая детская песенка, мотив, на который мы пели: «Мальчишки, девчонки, гулять идем!» Мелодия была та самая, но слова Лэтти были еще старше. В этом я был уверен.

И пока она пела, под оранжевым небом стало что-то происходить.

Земля вспучилась и зазмеилась червями, длинными серыми червями, выползавшими из-под наших ног.

Что-то выстрелило в нас из самой гущи развевающегося тряпья. Оно было чуть больше футбольного мяча. В школе на уроках физкультуры, если я что-то должен был поймать, обычно мне это не удавалось, рука опаздывала на секунду, и я получал удар в лицо или живот. Но сейчас это что-то летело прямо в меня и в Лэтти Хэмпсток, и не успел я подумать, как взял и *сделал*.

Вытянул обе руки и поймал его — косматый, извивающийся клубок из паутины и истлевшей ткани. А поймав, почувствовал боль: что-то кольнуло в ступню и тут же прошло, как будто я наступил на кнопку.

Лэтти выбила у меня из рук клубок, он упал на землю и исчез. Она схватила мою правую руку и крепко сжала ее. При этом, не прекращая петь.

Эта песня являлась мне во снах, ее странные слова, незатейливый детский мотив, и иногда, во сне, я понимал, что в ней говорилось. В тех снах я тоже говорил на этом языке, на праязыке, и мог повелевать всем сущим. Во сне это был язык бытия, все сказанное на нем претворяется в жизнь, и ничто реченное не может быть ложью. Он — главный строительный камень мироздания. Во сне я использовал этот язык, чтобы лечить больных и летать; однажды мне приснилось, что я владелец замечательной

маленькой таверны на берегу моря, и каждому своему постояльцу я говорил: «Исцелись», и он становился цельным, снова цельным, а не разбитым, потому что я говорил на языке формы.

И, так как Лэтти говорила на языке формы, даже не понимая, что она говорит, я догадался о том, что было сказано. Отныне существо на поляне было навеки привязано к этому месту, не могло выйти отсюда и не имело власти за пределами своих владений.

Лэтти Хэмпсток закончила петь.

Мне чудилось, что существо завывает, ревет, выкрикивает ругательства, но под оранжевым небом все было тихо, только холщовые лохмотья хлопали на ветру и ветки трещали.

Ветер улегся.

На черной земле ковром лежали клочья серой ткани, как дохлые зверьки или как брошенное кем-то нестираное белье. Они не шевелились.

«Это должно ее удержать», — сказала Лэтти и сжала мою руку. Я понял, что она старается говорить весело, но у нее не получилось. Слова прозвучали зловеще. «Пойдем, надо отвести тебя домой».

Держась за руки, мы прошли отливающий синевой вечнозеленый лес, перебрались через декоративный пруд по лакированному красно-желтому мостику и двинулись дальше по краю поля, где проклеивались молодые ростки кукурузы, словно трава, посеянная рядами; все так же держась за руки, мы взобрались по деревянному перелазу и оказались на другом поле с растениями, похожими на маленькие камыши или мохнатых змеек — черные, белые, бурые, оранжевые, серые, полосатые, все они лениво извивались, сворачиваясь и разворачиваясь на солнце.

«Что это?» — удивился я.

«Хочешь, вытащи и посмотри», — разрешила Лэтти.

Я поглядел вниз: мохнатый завиток у меня под ногами был совершенно черным. Наклонившись, я ухватил его покрепче у корня левой рукой и потянул.

Что-то показалось из земли и стало яростно изворачиваться. Будто сотня мелких иголок впиалась мне в левую ладонь. Я стряхнул с него землю и извинился, а оно уставилось на меня скорее в изумлении и замешательстве, чем со злостью. С ладони оно прыгнуло мне на рубашку, я погладил его: это был котенок, черный и гладкий, с заостренной любопытной мордочкой, с белым пятном на одном ухе, с глазами необычайно яркого сине-зеленого цвета.

«Здесь, на ферме, наши кошки плодятся обычным способом», — пояснила Лэтти.

«А как это?»

«Да то все Большой Оливер. Он очутился на ферме еще в темные времена. Все кошки на ферме пошли от него».

Я взглянул на котенка, повисшего у меня на рубашке.

«Можно мне взять его домой?» — попросил я.

«Не его, а ее. И это не простой котенок. Да и вообще не очень хорошая идея брать что-то домой отсюда», — ответила Лэтти.

Я опустил кошку на землю у края поля. Она погналась за бабочкой, то подпуская ее к себе поближе, то снова взлетающей вверх, а потом и вовсе умчалась и даже не оглянулась.

«Моего котенка задавили, — пожаловался я Лэтти. — Он был совсем маленький. Человек, который умер, рассказал мне об этом, хотя и не он вел машину. Он сказал, они не заметили».

«Жалко», — отозвалась Лэтти. Мы как раз проходили под густо цветущей яблоней, и вокруг пахло медом. «Вот ведь она, какая беда с живыми. Не живут долго. Сегодня котенок, завтра старая кошка. А потом лишь воспоминания. Да и они тускнеют, стираются, затираются...»

Она отворила жердяные ворота, и мы прошли через них. И только тут она отпустила мою руку. Мы стояли на самом конце проселка, у дощатого стола с помятыми бидонами из-под молока. Вокруг ничем необычным не пахло.

«Мы что, правда вернулись?» — спросил я.

«Да, — подтвердила Лэтти Хэмпсток. — И больше от нее нам вреда не будет. — Она помолчала. — Ох и страшная же она была, да? И мерзкая. Никогда еще такую не видела. Если б я знала, что она будет такой старой, большой, такой мерзкой, я бы тебя с собой не взяла».

Я был рад, что она взяла меня с собой.

Лэтти снова заговорила: «Лучше бы ты не отпускал мою руку. Но вроде с тобой все в порядке, да? Все получилось как надо. Обошлись без потерь».

Я заверил ее: «Со мной все хорошо. Волноваться не о чем. Я бравый солдат». Так всегда говорил дедушка. И я повторил за ней: «Обошлись без потерь».

Она улыбнулась мне — весело, с облегчением, и я надеялся, что, сказав это, поступил правильно.

Вечером сестра, сидя на кровати, снова и снова расчесывала волосы. Перед тем как лечь спать, она сто раз проводила расческой по волосам и тщательно вела счет. Я не понимал зачем.

«Что ты там делаешь?» — спросила она.

«Ногу смотрю», — отозвался я.

Я разглядывал правую стопу. От бугра под большим пальцем и почти до самой пятки шла по центру розовая линия — ребенком, еще не научившись толком ходить, я наступил на осколок стекла. Помню, как, проснувшись на следующее утро в своей детской кроватке, я разглядывал черные стежки, удерживающие края пореза вместе. Это было мое самое раннее воспоминание. Я привык к розовому шраму. А вот дырочка прямо за ним, на своде стопы, была свежей. Она была как раз там, где я почувствовал острую боль, хотя сейчас она не болела. Это была просто дырка.

Я поковырял ее указательным пальцем, и мне показалось, что в дырке что-то есть.

Сестра перестала расчесываться и смотрела на меня с любопытством. Я встал, вышел из комнаты и направился в ванную в конце коридора.

Не знаю, почему я не пошел с этим к родителям. Я вообще не помню, чтобы ходил за помощью к взрослым, если только совсем некуда было деваться. В тот год я вырезал у себя на коленке бородавку перочинным ножом, заодно узнав, какой глубины должен быть порез, чтобы стало больно, и на что похожи корни бородавки.

В ванной в зеркальном шкафчике хранился пинцет из нержавеющей стали с тонкими, заостренными кончиками, чтобы вытаскивать занозы, и упаковка лейкопластыря. Я сел на металлический край белой ванны и стал обследовать дырку в стопе. Это была простая, круглая дырочка с ровными краями. Насколько глубокая — мне не было видно, что-то мешало. Что-то застряло внутри. И когда в дырку попадал свет, то казалось, что оно уходит вглубь.

С пинцетом наготове я наблюдал. Ничего не происходило. Ничего не менялось.

Указательным пальцем левой руки я осторожно прикрыл дырку от света. Поднес к ней кончик пинцета и затаился. Досчитал до ста — наверное, из-за сестры и ее расчесывания. Потом убрал палец и сунул в дырку пинцет.

Я поймал головку червя, если это был червь, зажав ее между металлическими кончиками, и потянул.

Вы когда-нибудь пробовали вытащить из норы червяка? Знаете, как они упираются? Как они всем телом цепляются за стенки? Я уже вытащил что-то около дюйма этого червя — розово-серого, в прожилках, словно пораженного вирусом — из дырки в стопе, когда почувствовал, что дальше не идет. Я ощущал, как у меня в ноге он застыл, стал неподатливым. Червяк меня не пугал. Было ясно, что с людьми такое случается, завелись же у соседского кота Дымки глисты. У меня червяк завелся в ноге, и я пытался от него избавиться.

Я стал вращать пинцет, думая, как мне кажется, про спагетти на вилке, и накручивать на него червя. Он сопротивлялся, но мало-помалу я выкручивал его, а потом он совсем застрял.

Я чувствовал, как у меня внутри он упирается, словно жила, цепляясь за липкие стенки эластичного канала. Я наклонился, насколько это было возможно, дотянулся левой рукой до барашка с красным пятном посередине и пустил горячую воду. Вода лилась из крана в сливное отверстие минуты три-четыре, пока не пошел пар.

Тогда я вытянул ногу и правую руку, крепко сжимая пинцет, а с ним и ту часть червя, что мне удалось из себя извлечь. Место, где был пинцет, я подставил под кипяток. Вода окатила ступню, но мои подошвы так огрубели от частой ходьбы босиком, что я не сильно боялся. Вода обожгла пальцы, но я был к этому готов. А червяк нет. Я ощутил,

как он извивается внутри меня, пытаюсь увернуться от горячей воды, как он слабеет. Победно я орудовал пинцетом, будто избавлялся от самого ненавистного существа в мире, и оно, поддаваясь, сопротивлялось мне все меньше и меньше.

От горячей воды оно совсем размякло, и я упорно тянул, пока оно почти полностью не вылезло. Но я был слишком самонадеян, нетерпелив и торопился праздновать победу: я дернул слишком быстро, слишком резко, и весь червяк оказался у меня на ладони. Его кончик, показавшийся из стопы, был неровный и сочился слизью, как будто оторвался.

Но если что-то и осталось у меня в ноге, то самый мизер.

Я с интересом рассматривал червя. Он был темно-серый и светло-серый, в розовых прожилках и с кольцами, как обычный земляной червь. Сейчас, когда его вытащили из горячей воды, он вроде бы оживал. Я держал его пинцетом за голову (*голова* ли это была? Откуда мне знать?), а тело свисало, дергаясь и извиваясь по всей длине.

Мне не хотелось его убивать — я не убивал животных, если можно было обойтись без этого, — но от червя нужно было избавиться. Он был опасен. Я в этом не сомневался.

Я подержал извивающегося червя под струей горячей воды над сливным отверстием. И отпустил, наблюдая, как он исчезает в водостоке. Я оставил воду открытой, вымыл пинцет. Заклеил дырку в стопе кусочком лейкопластыря, заткнул ванну пробкой, чтобы червяк не выкарабкался обратно до того, как закроется кран. Я понятия не имел, умер ли он, но не думаю, что вы бы вылезли назад из нашего водостока.

Я положил пинцет туда, где его взял, — в зеркальный ящик, закрыл створки и посмотрелся.

Меня занимал вопрос, в то время я частенько над этим думал, кто я и что за существо стоит по эту сторону зеркала. Если лицо, которое я видел там, было мною, а я знаю, что оно мною не было, потому что я — это я, что бы с моим лицом ни случилось, тогда что же такое я? И что за существо стоит и смотрит?

Я вернулся в комнату. По графику это была моя ночь, и дверь была открыта, я подождал, пока сестра заснет, чтобы не наябедничала, и потом при рассеянном свете из коридора читал «Тайны „Секретной семерки“», пока сам не уснул.

Кстати, еще кое-что: когда я был маленьким мальчиком, наверное, трех-четырёх лет отроду, я вроде как был чудовище. «Ты был маленький мамзер», — твердили мне тетки по разному поводу, когда я таки дотянул до взрослых лет и мои ужасные детские проделки можно было вспоминать с издевкой. Но на самом деле я не помню, что был чудовищем. Помню, только хотел все делать по-своему.

Ребенок, не каждый, конечно, думает, что он бог, и ни за что не успокоится, если остальные смотрят на мир как-то иначе.

Но я уже не был ребенком. Мне исполнилось семь. Когда-то я ничего не боялся, а теперь был ужасно напуган.

Не происшествие с червем в стопе испугало меня. Об этом я никому не сказал. Хотя на следующий день в голове крутился вопрос, часто ли у людей заводятся в ноге червяки, или это случилось только со мной на поляне под оранжевым небом на краю фермы Хэмпстоков.

Проснувшись, я отлепил пластырь и с облегчением обнаружил, что дырка начала затягиваться. На ее месте было лишь розовое пятно, похожее на гематому.

Я спустился вниз позавтракать. Мама выглядела счастливой. «Хорошие новости, дорогой, — начала она. — Я нашла работу. В оптике „У Диксонов“ требуется офтальмолог, и они хотят, чтобы я начала сегодня после обеда. Я буду работать четыре дня в неделю».

Я был не против. Я прекрасно обходился один.

«У меня есть еще хорошие новости. Кое-кто приедет за вами присматривать, пока меня нет дома. Ее зовут Урсула. Она будет спать в твоей старой комнате на самом верху. Она — наподобие экономки. Будет следить, чтобы вы, дети, были накормлены, и убираться — у миссис Уоллери заболело бедро, и она говорит, что сможет вернуться только через несколько недель. У меня прямо камень с души — кто-то здесь будет, пока мы с папой на работе».

«У вас же нет денег на это, — буркнул я. — Вы же сами сказали, что у вас больше нет денег».

«Вот поэтому я и буду работать офтальмологом, — объяснила она. — А Урсула будет нянчиться с вами за еду и ночлег. Ей нужно остаться здесь на несколько месяцев. Она позвонила сегодня утром. У нее прекрасные рекомендации».

Я надеялся, что она хотя бы окажется милой. Предыдущая экономка Гертруда, за полгода до этого, вовсе не была милой: она любила нас разыгрывать, например, специально заправляя постель так, чтобы мы в ней путались и не могли выбраться, а мы этих ее шуток не понимали. В конце концов мы вышли к дому с плакатами «Ненавидим Гертруду» и «Терпеть не можем стряпню Гертруды», стали подкладывать ей в кровать лягушат, и она уехала обратно к себе в Швецию.

Я взял книгу и пошел в сад.

Был теплый весенний день, светило солнце, и я вскарабкался по веревочной лестнице на нижнюю ветку большого бука, устроился там и стал читать. С книжкой мне было все нипочем: я унесся далеко, в Древний Египет, и узнал о Хатор, о том, как она преследовала египтян, превратившись в львицу, и порешила столько, что пески Египта побагровели, как ее смогли победить, лишь смешав пиво, мед и снотворное и выкрасив эту смесь в красный, как она приняла смесь за кровь, выпила ее и уснула. А потом Ра, отец всех богов, сделал ее богиней любви, чтобы раны, которые она наносила людям, отныне были только сердечными.

Я все думал, почему боги так поступили. Почему они просто не убили ее, когда появилась такая возможность.

Мне нравились мифы. Они не были историями для взрослых или детей. Они были лучше.

Лучше, и все.

Я никогда не понимал историй для взрослых, и начало там было слишком затянуто. После них мне казалось, что у взрослых свои секреты, масонские заговоры, мистификации. Почему они не хотели читать про Нарнию, таинственные острова, контрабандистов и опасных волшебниц?

Голод давал о себе знать. Я слез с дерева и пошел через задний двор мимо прачечной, пахшей стиральным порошком и плесенью, мимо небольшого дровяного навеса, мимо уличной уборной с деревянными дверками травянисто-зеленого цвета и с пауками, которые висели внутри и ждали. Через черный ход, по коридору, на кухню.

Там была мама с незнакомой мне женщиной. При виде ее в сердце кольнуло. То есть буквально, не в переносном смысле: я почувствовал резкую боль в груди, лишь на секунду, а потом она сразу прошла.

Сестра сидела за кухонным столом, поедая из тарелки кукурузные хлопья.

Женщина была прехорошенькая. С коротковатыми золотисто-медовыми волосами, огромными серо-голубыми глазами и бледно-розовой помадой. Она казалась высокой, даже для взрослого.

«Дорогой, — обратилась мама ко мне, — это Урсула Монктон». Я ничего не ответил. Просто стоял и смотрел на нее. Мама легонько ткнула меня локтем в бок.

«Привет», — поздоровался я.

«Он стесняется, — сказала Урсула Монктон. — Уверена, вот привыкнет ко мне, и мы станем большими друзьями». Она протянула руку и погладила сестру по блеклым, грязно-коричневым волосам. Та расплылась в беззубой улыбке.

«Вы мне так нравитесь! — восхищенно проговорила сестра. И, глядя на нас с мамой, добавила: — Когда я вырасту, хочу быть Урсулой Монктон».

Мама и Урсула засмеялись. «Ах ты, маленькая умница! — похвалила ее Урсула Монктон и повернулась ко мне: — Так что насчет нас, а? Мы ведь тоже друзья?»

Я молча смотрел на нее, такую взрослую, со светлыми волосами, в серо-розовом платье, и мне стало страшно.

Ее платье не было изношенным. Думаю, оно просто так было сделано, такой тип платья. Но когда я смотрел на нее, мне казалось, что платье развеивается в этой защищенной от сквозняков кухне, наливаясь ветром, точно парус корабля посреди пустынного океана под оранжевым небом.

Не знаю, что я ответил, если что-то вообще ответил. Но из кухни я вышел, несмотря на голод, даже не взяв яблока.

Я пошел с книгой в сад за домом — под балкон, к цветочной клумбе у окна гостиной, и погрузился в чтение, забывая про голод в путешествии по Египту с богами, у которых были звериные головы и которые разрубали друг друга на части, а потом снова воскрешали.

В саду показалась сестра.

«Мне она так нравится, — заявила она. — Урсула — мой друг. Хочешь посмотреть, что она мне дала?» Сестра вынула небольшой серый кошелек-монетницу с металлической застежкой-бабочкой, вроде того, что был у мамы в сумочке. Было видно, что он сделан из кожи. Может быть, из мышины? Она открыла кошелек, сунула пальцы в щель и достала большую серебряную монету — полкроны.

«Вот, смотри-смотри! — хвалилась она. — Смотри, что у меня есть!»

Я тоже хотел полкроны. Нет, я хотел то, что можно было купить на полкроны — набор фокусника, пластиковые игрушки-развлекучки, книги, ох, столько много всего. Но маленький серый кошелек с монетой в полкроны я не хотел.

«А мне она не нравится», — возразил я сестре.

«Это потому что я первая ее увидела, — нашлась сестра. — Она *мой* друг».

Я не думал, что Урсула Монктон была чьим-то другом. Мне захотелось побежать и предупредить о ней Лэтти Хэмпсток — но что бы я сказал? Что новая няня-экономка носит серое и розовое? Что она странно на меня смотрит?

Зачем я тогда отпустил руку Лэтти?! Урсула Монктон — это была моя ошибка, я знал это наверняка, и от нее не избавиться, просто спустив в водосток или подкладывая в кровать лягушек.

В тот момент и надо было удирать, мчаться без оглядки вниз по проселку, пробежать эту милю до фермы Хэмпстоков, но я не сбежал, такси увезло маму в оптику «У Диксонов», где она показывала людям буквы через линзы и выписывала разные средства, чтобы они лучше видели, а я остался с Урсулой Монктон.

Она вышла в сад с подносом сэндвичей.

«Я поговорила с вашей мамой, — начала она, и под бледно-розовой помадой нарисовалась сахарная улыбка. — Пока я тут, вы, дети, не будете разгуливать где попало. Можете играть где угодно в доме и в саду и навещать вместе со мной ваших друзей, но выходить за пределы поместья и шататься по округе строго запрещается».

«Конечно», — согласилась сестра.

Я промолчал.

Сестра уплетала сэндвич с арахисовым маслом.

Я умирал от голода. Но мне не давал покоя вопрос: а что, если есть сэндвичи небезопасно? Наверняка я не знал. Я боялся, вот съем один, и он в желудке превратится в червей, они будут ползать внутри, обживутся у меня в теле, а потом, выбираясь наружу, прогрызут дырки в коже.

Я вернулся в дом. Толкнул дверь в кухню. Урсулы Монктон там не было. Я напихал в карманы фруктов — яблок, апельсинов, жестких бурых груш. Взял три банана, сунул их под джемпер и побежал в свою лабораторию.

Моей лабораторией, так я ее называл, был зеленого цвета сарай — пристройка к огромному старому гаражу, удаленная от дома, насколько это было возможно. Около сарая росла смоковница, правда, мы только и видели, что ее разлапистые листья да зеленые плоды, а спелую смокву так ни разу и не отведали. Я называл сарай лабораторией, потому что хранил там свой набор юного химика: этот набор, мой вечный подарок на день рождения, запретил держать в доме отец, когда я наделал дел в пробирке. Я намешал что ни попадя, подогрел, смесь почернела и изверглась из пробирки с аммиачным выхлопом, который никак не хотел выветриваться. Отец сказал, что не возражает против моих экспериментов (хотя никто из нас не знал, над чем я вообще колдую. Да и какая была разница, маме тоже дарили на день рождения наборы юного химика, и видите, как хорошо все вышло), но чтобы духу их не было в доме.

Я съел банан и грушу, остальные фрукты спрятал под деревянный стол.

Взрослые идут нахоженными тропами. Дети разведывают новые. Взрослый довольствуется привычным, он идет одним и тем же путем сотни, тысячи раз; и, может, ему никогда не придется свернуть, проползти под кустами рододендрона, найти дырки в заборе. Я был ребенком и знал множество способов выбраться из поместья к проселку, не выходя на подъездную дорожку. Я решил, что выскользну из лаборатории, прокрадусь вдоль стены до края лужайки и юркну в кусты азалии и благородного лавра на краю сада. Из кустов спущусь по косогору и вылезу через проржавевшую ограду на проселок.

За мной никто не следил. Я бежал, полз, продирался сквозь лавровые кусты, спускался по косогору, путался в зарослях ежевики и обжигался крапивой, которой в прошлый раз еще не было.

У подножия косогора, прямо у проржавевшей ограды, меня поджидала Урсула Монктон.

Она никак не могла пробраться сюда, чтобы я ее не увидел, но она была здесь. Стояла, скрестив руки на груди, и смотрела на меня, и ее платье, серое с розовым, развевалось на ветру.

«Я, кажется, сказала тебе не выходить за пределы поместья».

«А я и не выхожу! — выпалил я с таким напором, какого в себе совсем не ощущал, даже самую малость. — Я на нашей земле. Просто играю в следопыта».

«Все крутишься здесь и вынюхиваешь», — сказала она.

Я промолчал.

«Думаю, тебе самое место в детской, там будет проще за тобой уследить. Итак, пора устроить сон-час».

Я был слишком взрослый, чтобы спать днем, но понимал, что чересчур маленький, чтобы спорить или одержать в этом споре верх.

«Ладно», — буркнул я.

«Никаких „ладно“, — отрезала она. — Говори „Да, мисс Монктон“. Или „мэм“. Ну-ка скажи: „Да, мэм“». Она взглянула на меня своими серо-голубыми глазами, которые мне напомнили щели в рваной холстине и теперь не казались красивыми.

Я повторил за ней «Да, мэм», и, повторяя, ненавидел себя за это.

Мы стали вместе подниматься по склону.

«Твоим родителям это место больше не по карману, — заговорила Урсула Монктон. — И содержать его им не на что. Скоро они поймут — чтобы решить финансовые проблемы, нужно продать дом вместе с садами застройщикам. Тогда все *это*... — а *это* была беспорядочная путаница ежевичных ветвей, нечесаный уголок мира позади поляны, — превратится в дюжину одинаковых домов и садов. И если вам повезет, один из них получите вы. А если нет, то вам останется лишь завидовать тем, кто получил. Как тебе такой расклад?»

Я любил этот дом, этот сад. Его косматую, заросшую неухоженностью. Я любил это место, как будто оно было частью меня, и, наверное, оно по-своему было.

«Кто вы?» — спросил я.

«Урсула Монктон. Ваша экономка».

«А кто вы на самом деле? — переспросил я. — И почему вы даете людям деньги?»

«Все хотят денег, — удивилась она, словно это было само собой разумеющимся. — Деньги делают их счастливыми. Они и тебя осчастливят, если захочешь». Мы вышли к компостной куче у зеленого круга в траве, который мы называли кольцом фей: иногда в дождливую погоду его заполняли ярко-желтые поганки.

«А теперь, — приказала она, — иди к себе в комнату».

И я припустил от нее изо всех сил — через кольцо фей, по лужайке, мимо розовых кустов и дровяного навеса в дом.

Урсула Монктон встречала меня у черного хода, стоя в проеме двери, хотя она никак не могла проскользнуть мимо. Я бы увидел. Прическа у нее была волосок к волоску, а губы — словно только что накрашены.

«Я же внутри тебя, — усмехнулась она. — Так что, сам понимаешь. Расскажешь кому, тебе не поверят. А я внутри, и я точно узнаю. Возьму и сделаю так, чтобы ты больше никогда никому ничего не сказал против моей воли, никогда».

Я поднялся к себе и лег на кровать. Место на стопе, где раньше был червяк, пульсировало и болело, а теперь и в груди давило. Я забылся в чтении. Я бежал от реальности, когда жизнь была слишком тяжелой или вовсе заходила в тупик. Брал с

полки несколько маминых старых книжек, из ее детства, и читал про школьниц и их приключения в 1930-х и 1940-х годах. В основном они боролись с контрабандистами, шпионами, пособниками из пятой колонны, кто бы это ни был, девочки всегда отличались отвагой и точно знали, что делать. Я отвагой не отличался и не имел ни малейшего представления, что делать.

Мне никогда еще не было так одиноко.

Я все гадал, есть ли у Хэмпстоков телефон. Вряд ли, но не исключалось — может, это миссис Хэмпсток заявила в полицию о «мини». Телефонная книга была внизу, но я знал номер справочной, всего-то нужно было назвать фамилию Хэмпсток и ферму Хэмпстоков. Телефон был у родителей в комнате.

Я встал с кровати, подошел к двери, выглянул. Коридор был пуст. Как можно быстрее и тише я прокрался в комнату рядом с нашей. Стены в ней были светло-розовые, родительская кровать стояла застеленная покрывалом с набивным рисунком из огромных роз. Окна от пола до потолка выходили на балкон, который с этой стороны опоясывал дом. Кремовый телефон стоял на прикроватном столике, тоже кремовом, только с позолотой. Я схватил трубку, услышал глухой стрекот телефонного гудка и стал набирать справочную, просовывая палец в дырки на диске: один, девять, два. Я ждал, что появится оператор и продиктует мне номер фермы Хэмпстоков. У меня был с собой карандаш — записать номер на обороте книги в синем тканевом переплете с названием «Пэнси спасает школу».

Оператор не появился. Стрекот в трубке продолжался, а сквозь него голос Урсулы Монктон выговаривал: «Благовоспитанный юноша не вздумает пробираться тайком к телефону, а, юноша?»

Я ничего не ответил, хотя и не сомневался, что она слышит мое дыхание. Я опустил трубку на рычаг и вернулся в детскую.

Сел на кровать и стал смотреть в окно.

Моя кровать была придвинута плотно к стене и стояла прямо у окна. Мне нравилось спать с открытым окном. В дождливую ночь больше всего: я открывал его, клал голову на подушку, закрывал глаза, и чувствовал на лице ветер, и слушал, как деревья качаются и скрипят. Если мне везло, на лицо задувало капли дождя, тогда я представлял себя посреди океана в лодке, качавшейся в такт волне. Я не воображал себя пиратом или что куда-то плыву. Я был просто у себя в лодке.

Но сейчас не шел дождь, и на дворе был день. И все, что я видел из окна, — это деревья, облака и пурпурную даль горизонта.

Под большим пластиковым Бэтменом, подарком на день рождения, у меня был тайник с шоколадом на черный день, я его съел, и пока ел, вспоминал, как отпустил руку Лэтти Хэмпсток и поймал клубок из гнилой дерюги, как потом больно кольнуло в ногу.

Сам ее сюда и притащил, подумал я, зная, что так оно и есть.

Не было никакой Урсулы Монктон. Она была картонной оболочкой этого существа — червя, поселившегося во мне, существа, раздувавшегося в потоках ветра и хлопавшего рваными краями там, на поляне под оранжевым небом.

Я вернулся к приключениям Пэнси, спасавшей школу. Секретные чертежи авиабазы, расположенной неподалеку, перехватили вражеские шпионы — учителя, занятые на работах в школьном саду: чертежи спрятали в выдолбленных кабачках.

«Великий боже! — воскликнул инспектор Дэвидсон из знаменитого отдела по борьбе с контрабандистами и тайными агентами Скотленд-Ярда (отдел БКТА). — Уж это точно последнее место, где бы мы стали искать!»

«Мы приносим вам свои извинения, Пэнси, — произнесла суровая директриса с несвойственной ей теплой улыбкой и таким блеском в глазах, что Пэнси засомневалась — возможно, все это время она ошибалась на ее счет. — Вы спасли репутацию школы! А теперь, пока вы не слишком возгордились, позвольте спросить, не имеется ли каких французских глаголов, которые вы должны проспрягать для мадам?»

Я еще мог радоваться за Пэнси, хотя все мои мысли были проникнуты страхом. Я ждал прихода родителей. Я бы им рассказал, что происходит. Я бы им рассказал. И они бы поверили.

В то время отец работал всего в часе езды от дома. Я не вполне представлял, что у него за работа. У него была очень милая, симпатичная секретарша, а у нее — карликовый пудель; если мы, дети, должны были приехать к отцу, она всегда привозила из дома пуделя, чтобы мы с ним играли. Иногда мы проходили мимо каких-нибудь зданий, и отец говорил: «Это одно из наших». Но здания меня не занимали, так что я никогда не спрашивал, как оно могло быть одним из наших, или даже кто это *мы*.

Я лежал на кровати, проглатывая книгу за книгой, пока в двери не показалась Урсула Монктон и не сказала: «Теперь можешь спускаться».

Внизу, в гостиной, сестра смотрела телевизор. Программу «КАК», научно-популярное шоу о том, как все устроено, начинавшееся заставкой, где ведущие в индейских головных уборах с перьями кричали «Как?» и зачем-то издавали боевой клич индейцев.

Я хотел переключить на «Би-би-си», но сестра торжествующе посмотрела на меня и предупредила: «Урсула говорит, я могу смотреть все, что захочу, а тебе переключать нельзя».

Я на минуту присел около нее, на экране усатый старик показывал всем детям Англии, как вручную сделать муху-блесну.

«Она нехорошая», — проворчал я.

«А мне она нравится. Она красивая».

Через пять минут домой вернулась мама, из коридора крикнула нам «привет» и пошла на кухню к Урсуле Монктон. Затем она вновь появилась. «Ужин будет готов, как только приедет папа. Вымойте руки».

Сестра пошла наверх мыть руки.

«Мне она не нравится, — сказал я маме. — Ты ведь прогонишь ее?»

Мама вздохнула. «Дорогой, это же *не* Гертруда. Урсула — очень славная девушка, из очень хорошей семьи. И она определенно вас *обожает*».

Приехал домой отец, и подали ужин. Густой овощной суп, жареную курицу, молодой картофель с зеленым горошком. Все, что я любил. Я не взял в рот ни крошки.

«Я не голодный», — объяснил я.

«А я не из тех, кто сплетничает, — вмешалась Урсула Монктон. — Но у кого-то были руки и лицо в шоколаде, когда этот кто-то вышел из своей комнаты».

«Зря ты ешь эту дрянь», — рыкнул на меня отец.

«Это же очищенный сахар. От него портятся аппетит и зубы», — добавила мама.

Я боялся, как бы они не заставили меня есть, но они не стали. Я сидел за столом голодный, а Урсула Монктон смеялась над шутками отца. И мне казалось, что шутки у него особенные, только для нее.

После ужина мы вместе смотрели сериал «Миссия невыполнима». Обычно он мне нравился, но в этот раз я чувствовал себя неудобно — люди вновь и вновь стаскивали с себя лица, обнаруживая под ними новые. Это были резиновые маски, скрывавшие знакомых героев, но у меня свербило — если Урсула Монктон снимет свое лицо, что будет под ним?

Потом мы пошли спать. Это была ночь сестры, и дверь в комнату закрыли. Мне не хватало света из коридора. Я лежал на кровати, с открытым окном, без сна, вслушиваясь в шорохи старого дома на исходе долгого дня, и загадывал про себя, желая изо всех сил, чтобы загаданное сбылось. Я хотел, чтобы родители прогнали Урсулу Монктон, и я

пошел бы к Хэмпстокам, рассказал Лэтти, что я наделал, и она простила бы меня и все исправила.

Мне не спалось. Сестра уже заснула. Похоже, она засыпала, стоило только ей захотеть — завидное свойство, которым я похвастаться не мог.

Я вышел из комнаты.

Постоял у лестницы, послушал звук телевизора снизу. Стараясь не шлепать босыми ногами, осторожно спустился на три ступеньки и сел. Дверь в гостиную была наполовину открыта, спустился я еще на ступеньку, и те, кто у телевизора, могли бы меня увидеть. Так что я решил обождать здесь.

До меня доносились голоса из телевизора, перемежавшиеся короткими взрывами телехихота.

А сквозь эти телевизионные голоса прорывался разговор взрослых.

«То есть по вечерам вашей жены нет дома?» — спросила Урсула Монктон.

Голос отца. «Нет. Она уехала, чтобы кое-что приготовить на завтра. Но с завтрашнего дня это будет каждую неделю. Она собирает деньги для жителей Африки, в деревенском клубе. Чтобы рыть колодцы, хотя я думаю — на контрацептивы».

«Да уж, — поддакнула Урсула. — *Понятное дело*».

И засмеялась высоким, серебристым смехом, в котором слышались дружелюбие, искренность и неподдельность, а совсем не шум развевающихся лохмотьев. Тут она пробормотала: «Ох уж этот мне маленький слухач...», дверь настежь распахнулась, и вот на меня в упор смотрела Урсула Монктон. Она успела подновить макияж, нарисовала свои длинные ресницы и освежила бледно-розовую помаду.

«Марш в кровать, — приказала она. — Быстро».

«Я хочу поговорить с папой», — попросил я без особой надежды. Она ничего не ответила, просто улыбнулась, но в этой улыбке не было ни теплоты, ни любви, и я побрел наверх, залез в постель и лежал в темной комнате, а когда совсем отчаялся уснуть, сон, подкравшись, сморил меня, и я спал беспокойно.

Следующий день не задался.

Родители уехали еще до того, как я проснулся.

За ночь похолодало, и небо было унылое, некрасивое, серое. Я прошел через комнату родителей на балкон, который тянулся во всю длину родительской спальни и детской, постоял там, глядя в небо и умоляя, чтобы Урсуле Монктон надоела эта игра и чтобы мне ее больше никогда не видеть.

Когда я спустился вниз, Урсула Монктон ждала меня у лестницы.

«Те же правила, что и вчера, маленький слухач, — предупредила она. — Выходить за пределы поместья запрещается. Если попробуешь, запиру тебя в комнате на весь день, а родителям вечером скажу, что ты совершил отвратительный поступок».

«Они вам не поверят».

Она приторно улыбнулась. «С чего ты взял? А если я им скажу, что ты вытащил своего друга из штанов, изгадил весь пол на кухне, и мне пришлось мыть его с хлоркой? Думаю, поверят. Я ли не сумею их убедить?»

Я пошел из дома в лабораторию. Съел там оставшиеся фрукты. И принялся за «Сэнди не проведешь», еще одну мамину книжку. Сэнди была храбрая, но бедная школьница, которую случайно отправили в элитную школу, где ее все ненавидели. В результате она разоблачила учителя географии, оказавшегося агентом Коминтерна и державшего в заточении настоящего географа. Кульминация пришлась на школьное собрание — Сэнди отважно поднялась со словами: «Я знаю, меня не должны были послать сюда. Это из-за ошибки в документах я попала к вам, а Сэнди, которая пишется через „е“, — в обычную муниципальную школу. Но я благодарю providение, что оно привело меня сюда. Потому что мисс Стриблинг — не та, за кого себя выдает».

И в конце Сэнди бросились обнимать люди, которые до этого ее ненавидели.

Отец вернулся с работы рано — на моей памяти он давно так рано не возвращался.

Я хотел поговорить с ним, но он все время был не один.

Я наблюдал за ними сверху, сидя на ветке моего бука.

Сначала он провел Урсулу Монктон по всему саду, с гордостью показывая розы, кусты черной смородины, вишневые деревья, азалии, как будто сам имел к ним какое-то отношение, как будто не мистер Уоллери рассаживал их и ухаживал за ними на протяжении пятидесяти лет, пока мы этот дом не купили.

Она смеялась всем его шуткам. Я не мог расслышать, что он говорит, зато мне была видна его косая ухмылка, которая возникала на отцовском лице от сознания, что он шутит.

Она стояла слишком близко к нему. Иногда он опускал ей на плечо руку, словно они были друзья. Я беспокоился, слишком близко он стоял к ней. Он не знал, кто она. Она — чудовище, а он думал — она обычный человек, и потому относился к ней дружелюбно. Сегодня она была одета иначе: серая юбка, их называют «миди», и розовая кофточка.

В любой другой день, увидев отца в саду, я бы побежал к нему. Но не сегодня. Я опасался, что он рассердится, или Урсула Монктон скажет ему что-то такое, от чего он рассердится на меня.

Я ужасно боялся, когда он злился. Его лицо (заостренное и обычно приветливое) наливалось кровью, и он кричал, орал во весь голос, яростно, что меня буквально вводило в ступор. И я не мог думать.

Он никогда не бил меня. Он не верил в битьё. Он частенько говорил нам, что его отец колотил его, что мать гонялась за ним с метлой, и что сам он выше этого. Когда он сильно злился и срывался на крик, то потом, бывало, напоминал, что не ударил меня,

словно я должен быть ему благодарен. В моих книжках про школу плохое поведение часто каралось палкой или тапочкой, потом прощалось и забывалось, и моментами я завидовал этим воображаемым детям, безыскусной чистоте их жизнью.

Мне не хотелось приближаться к Урсуле Монктон — не хотелось рисковать и злить отца.

Я прикидывал, стоит ли сейчас попытаться и проскользнуть за ограду, помчаться вниз по проселку, но был уверен, что если попробую, то придется смотреть на разъяренное лицо отца рядом с безмятежно-пригожим лицом Урсулы Монктон.

И я просто наблюдал за ними, сидя на огромной ветке бука. Когда они скрылись из виду за кустами азалии, я спустился вниз по веревочной лестнице и пошел в дом, на балкон, чтобы следить оттуда. На улице хмурилось, но повсюду были россыпи нарциссов, масляно-желтых и белых — с бледными лепестками и темно-оранжевой сердцевинкой. Отец нарвал нарциссов и подарил Урсуле Монктон, она рассмеялась, что-то сказала и сделала реверанс. Он в ответ поклонился, тоже что-то сказал, и опять она засмеялась. Наверное, он объявил себя ее рыцарем в сияющих доспехах или вроде того.

Я хотел окрикнуть его, предупредить, что он дарит цветы монстру, но не крикнул. Просто стоял на балконе и смотрел, а они не глядели вверх и меня не видели.

В моем сборнике мифов Древней Греции было написано: нарцисс назван по имени одного красивого юноши, настолько прекрасного, что он влюбился в самого себя. Увидев свое отражение в воде, он так и не смог оторваться от него и в конце концов умер, а богам пришлось превратить его в цветок. Я читал, и мне представлялся самый прекрасный цветок в мире. Как же я был разочарован, узнав, что это просто белый нарцисс.

Из дома показалась сестра и побежала к ним. Отец подхватил ее на руки. Они пошли по саду вместе — отец с сестрой, обнявшей его за шею, и Урсула Монктон с желто-белым букетом в руках. Я наблюдал за ними. И видел, как свободная рука отца, та, что не держала сестру, опустилась и, невзначай встретившись с юбкой Урсулы Монктон, властно легла туда, где у края ткань принимала очертания тела.

Сейчас бы я воспринял это иначе. А тогда я вряд ли думал об этом. Мне было семь.

Я залез в окно нашей комнаты, до него было легко достать с балкона, спрыгнул на кровать и открыл книгу про девочку, которая осталась на Нормандских островах, не побоявшись нацистов, потому что не хотела бросать своего пони.

Пока я читал, мне пришла в голову мысль, что Урсула Монктон не может меня держать здесь вечно. Скоро — самое большее через несколько дней — меня возьмут в город или куда-нибудь увезут, и я пойду на ферму на тот конец проселка рассказать Лэтти, что я наделал.

А потом я подумал, что, может, Урсуле Монктон всего-то и *нужно* парочку дней. И испугался.

На ужин Урсула Монктон приготовила мясной рулет, и я к нему не притронулся. Я решил не есть ничего, что она приготовит или к чему прикоснется. Отцу это не казалось забавным.

«Но я не хочу, — объяснял я ему. — Я не голодный».

Была среда, и мама уехала на встречу собирать деньги, чтобы жители Африки, которым не хватало воды, смогли нарыть себе колодцев. Встреча проходила в клубе в соседней деревне. Мама приготовила плакаты, чертежи колодцев и фотографии радостных людей. За ужином были сестра, отец, Урсула Монктон и я.

«Это полезно, это же пойдет тебе на пользу, а как вкусно, — убеждал меня отец. — И мы в этом доме еду зазря не выбрасываем».

«Я же сказал, я не голодный».

Я соврал. Есть хотелось до рези в желудке.

«Ну, хоть кусочек попробуй, — продолжал он. — Это же твое любимое блюдо. Мясной паштет, картофельное пюре с подливкой. Ты же все это любишь».

В кухне стоял стол для детей, за ним мы ели, когда к родителям приходили друзья или когда они ужинали поздно. Но сегодня мы ели за взрослым столом. Мне больше нравился детский. Там я чувствовал себя невидимкой. Никто не смотрел, как я ем.

Урсула Монктон сидела рядом с отцом и не сводила с меня взгляд, чуть приметно улыбаясь — самыми уголками губ.

Я знал, что нужно держать язык за зубами, молчать, затаиться. Но я не смог удержаться. Я должен был сказать отцу, почему я не хотел есть.

«Я не буду есть то, что она готовит, — заявил я. — Мне она не нравится».

«Ты будешь есть, — ответил отец. — По крайней мере попробуешь. И попросишь прощения у мисс Монктон».

«Не буду».

«Ну, он же не обязан», — добродушно сказала Урсула Монктон, все так же глядя на меня и улыбаясь. Не думаю, будто сестра или отец заметили, что она улыбалась, или то, что ни в голосе, ни в улыбке, ни в ее глазах-дырках на истлевшей дерюге не было ни капли доброты.

«Боюсь, ему придется, — проговорил отец, — слегка повышая голос и немного краснея. — Я не позволю ему так грубить вам! — И он насел на меня: — Назови одну, хоть одну причину, почему ты не извинишься и не будешь есть замечательную еду, которую Урсула нам сготовила».

Я не очень хорошо врал. И сказал правду.

«Потому что она не человек, — стал объяснять я. — Она — монстр. Она... — Как же Хэмпстоки их называли? — Она — *блоха*».

Теперь щеки отца пылали, губы сжались в тонкую линию. «Вон из-за стола. В коридор. Сию же минуту», — процедил он.

У меня упало сердце. Я сполз со стула и побрел за ним в коридор. Там было темно: лишь узкая полоска света пробивалась с кухни через окошко над дверью. Отец смерил меня взглядом. «Ты пойдешь на кухню. Попросишь прощения у мисс Монктон. Съешь все, что тебе положили, а затем тихо, без выкрутасов, отправишься напрямик наверх спать».

«Нет, — возразил я. — Не пойду и есть не буду».

И припустил по коридору, завернул за угол и помчался вверх, барабаня ногами по ступенькам. Я не сомневался, что отец побежит за мной. Он был вдвое больше и быстрее, но бежать было недалеко. В доме имелась только одна комната, где я мог закрыться, туда я и стремился — наверх, влево, в конец коридора. Я добрался до ванной, опередив отца. Громко захлопнул дверь и щелкнул маленькой блестящей задвижкой.

Он не побежал за мной. Наверное, подумал, что гоняться за ребенком — выше его достоинства. Но через несколько секунд я услышал стук, а затем и голос: «Открой дверь».

Я ничего не ответил. Опустил стульчак и сел на плюшевую крышку, в это мгновение я ненавидел его почти как Урсулу Монктон.

В дверь стукнули посильнее. «Не откроешь дверь, — сказал он громко, чтобы мне было слышно сквозь дерево, — я ее выломаю».

Был ли он способен на это? Я не знал. Дверь была закрыта. Двери закрывались, чтобы люди не входили. Закрытая дверь означала, что ты внутри, и если кто-то хочет в ванную, то дергает дверь, она не открывается, он кричит: «Извини!» или «Ты там еще надолго?» и...

Дверь проломилась внутрь. Маленький блестящий шпингалет повис, весь изломанный и погнутый; в дверном проеме, заполнив его целиком, стоял отец с расширенными, побелевшими глазами, щеки у него пылали от гнева.

«Ну хорошо», — сказал он.

Больше он ничего не сказал, но его рука вцепилась в мое левое предплечье с такой силой, что мне никогда бы не удалось вырваться. Я ждал, что он сделает дальше. Ударит меня, отошлет в комнату или будет орать так, что мне отчаянно захочется умереть?

Он ничего такого не сделал.

Он толкнул меня к ванне. Наклонился, сунул белую пробку в сливное отверстие. И открыл холодную воду. Вода потоком хлынула из крана, брызгами разлетаясь по белоснежной эмали, и стала медленно, но верно заполнять ванну.

Вода лилась с шумом.

Отец обернулся к открытой двери. «Я сам справлюсь», — сказал он Урсуле Монктон.

Она стояла в проеме и держала за руку сестру с участливым, озабоченным видом, но в глазах светилось торжество.

«Закройте дверь», — велел отец. Сестра начала хныкать, и Урсула Монктон, как могла, прикрыла дверь, но не плотно — мешала сорванная петля и сломанный шпингалет.

Мы остались с отцом один на один. Его щеки из красных сделались белыми, губы были сжаты, и я не понимал, что он собирается делать, зачем набирает ванну, но я был напуган, очень напуган.

«Я извинюсь, — лепетал я. — Попрошу у нее прощения. Я не это имел в виду. Она не монстр. Она... она красивая».

Он ничего не ответил. Ванна наполнилась, и он выключил воду.

Потом сгрел меня. Своими огромными ручищами подхватил за подмышки и поднял с такой легкостью, словно я вовсе ничего не весил.

Я смотрел на него, на его решительное лицо. Прежде чем подняться наверх, он снял пиджак. На нем была светло-голубая рубашка и темно-бардовый галстук с огуречным узором. Он расстегнул ремешок от часов и стряхнул их с руки на подоконник.

Тут до меня дошло, что он собирается сделать, я рванул и стал молотить его кулаками, но без толку, он опустил меня в холодную воду.

Меня охватил ужас, но вначале это был ужас от того, что происходящее не укладывается в установленный порядок вещей. Я был полностью одет. Это неправильно. На мне были сандалии. Это неправильно. Вода в ванне была холодная, такая холодная и такая неправильная. Вот что я подумал сначала, когда он сунул меня в воду, но он толкал дальше, пока моя голова и плечи не скрылись под этой холодной водой и на смену тому ужасу пришел другой. Я подумал, что умру.

И, подумав так, я твердо решил жить.

Я начал сучить руками, пытаюсь найти что-нибудь и ухватиться, но ничего не попадалось, только скользкие края ванны, в которой я купался последние два года. (Я прочел много книг в этой ванне. Это было одно из тех мест, где я чувствовал себя в безопасности. А теперь меня ждала здесь верная смерть.)

Я открыл глаза под водой и увидел — прямо надо мной мотался мой шанс на спасение, отцовский галстук, и я ухватился за него обеими руками.

Отец толкал меня вниз, а я карабкался вверх, крепко сжимая галстук, цепляясь за него, как за жизнь, пытаюсь выбраться из этой ледяной воды, я держался за него так сильно, что отец не мог обратно запихнуть меня в ванну, сам не угодив туда.

Мое лицо теперь вышло из-под воды, и я вцепился зубами в галстук у самого узла.

Мы боролись. Я был весь мокрый и не без удовольствия отметил про себя, что он тоже вымок, что голубая рубашка прилипла к его огромному телу.

Он снова навалился на меня, но страх смерти дает нам силы: мои руки и зубы тисками сжимали галстук, и он не мог ослабить эту хватку, не ударив меня.

Отец меня не ударил.

Он выпрямился, со всплеском вытаскивая из ванны меня, промокшего, злого, плачущего и напуганного. Я разжал зубы, но галстук из рук не выпустил.

Он сказал: «Ты испортил мне галстук. Отпусти». Узел на галстук стал величиной с горошину, подкладка намочла и вывалилась. Он добавил: «Радуйся, что матери нет дома».

Я отпустил, плюхнувшись на мокрый ковер. И немного попятился к унитазу. Он, посмотрев на меня, произнес: «Иди в комнату. Чтобы сегодня вечером я больше тебя не видел».

Я пошел в комнату.

Меня била дрожь, я промок насквозь, и мне было холодно, очень холодно. Словно все мое тепло украли. С прилипшей к телу одежды капало. С каждым шагом сандалии смешно хлюпали и через дырку-ромбик на носке плевались водой.

Я скинул с себя все вещи, свалив их мокрой грудой на изразцовом полу у камина, и под ними тут же образовалась лужа. Взяв с каминной полки коробку спичек, я открыл газ и зажег огонь.

(Я смотрел на пруд, и в памяти всплывали невероятные вещи. Почему самым невероятным мне казалось то, что у пятилетней девочки и семилетнего мальчика в комнате был газовый камин?)

Полотенец в комнате не было, и я стоял мокрый, раздумывая, чем бы вытереться. Пришлось взять с кровати тонкое стеганое покрывало и вытереться им, а затем надеть пижаму. Она была из красного нейлона, блестящая и в полоску, с запекшейся отметиной на левом рукаве — однажды я слишком близко наклонился к камину, и рукав загорелся, хотя каким-то чудом рука осталась нетронутой.

На двери висела моя ночная рубашка, почти ненадеванная, и ее тень расплзлась по стене во всю ширь, принимая чудовищные очертания при свете из коридора в ночь незакрытой двери. Я надел ее.

Дверь отворилась, сестра пришла забрать из-под подушки свою сорочку. Она стала дразниться: «Ты вел себя очень плохо, мне даже в одной комнате с тобой быть не разрешают. Я пойду спать к маме и папе в кровать. И папа говорит, мне можно включить телевизор».

У родителей в комнате, в углу, стоял старый телевизор в коричневом деревянном корпусе, его почти не включали. На нем дергалось изображение, смазанные черно-белые кадры прыгали, и, подгоняя друг друга, складывались в медленную вереницу: головы людей исчезали внизу экрана, когда сверху на них неторопливо опускались ноги.

«Ну и ладно», — ответил я.

«Папа сказал, ты испортил ему галстук. И еще папа из-за тебя весь мокрый», — с удовлетворением в голосе продолжала сестра.

Урсула Монктон стояла у двери. «Мы с ним не разговариваем, — напомнила она сестре. — И не будем разговаривать, пока ему не разрешат снова выйти к семье».

Сестра выскользнула из нашей комнаты, направляясь в соседнюю — к родителям. «Ты — не моя семья, — сказал я Урсуле Монктон. — Когда мама вернется, я расскажу ей, что сделал папа».

«Ее дома не будет еще два часа, — заметила Урсула Монктон. — И потом, какая разница, что ты ей скажешь? Она же ему в рот смотрит, так ведь?»

Так оно и было. Они всегда выступали сплоченным единым фронтом.

«Не стой у меня на дороге, — пригрозила Урсула Монктон. — У меня тут свои дела, а ты постоянно мешаешь. В следующий раз будет гораздо хуже. В следующий раз запрю тебя на чердаке».

«Я тебя не боюсь», — ответил я ей. Но я боялся, боялся ее больше всего на свете.

«Жарко здесь», — проговорила она с улыбкой. Потом подошла к камину, наклонилась и, выключив его, забрала с полки спички.

«Все равно ты — просто блоха», — сказал я.

Она перестала улыбаться. Дотянулась до перемычки над дверью — ребенок так высоко не дотянется — и стащила оттуда ключ. Вышла из комнаты и закрыла дверь. Я услышал, как повернулся ключ, как, щелкнув, сработал замок.

Через стенку говорил телевизор. Хлопнула коридорная дверь, отрезав две комнаты от всего остального дома, и я понял, что Урсула Монктон спускается вниз. Я подбежал к двери и, сощурившись, заглянул в замочную скважину. Из книжек я знал, что можно карандашом вытолкнуть ключ вниз на лист бумаги и выбраться на свободу... но ключа в скважине не было.

И я заплакал, окоченевший и все еще мокрый, в этой комнате, заплакал от боли, злости и ужаса, заплакал без стеснения, зная, что никто не войдет и не увидит меня, и не станет обзывать плаксой, как обзывали в школе мальчишек, которые имели глупость расплакаться.

В окно мягко забарабанил дождь, и даже это меня не обрадовало.

Я плакал, пока слезы не кончились. Потом несколько раз жадно глотнул воздуха и подумал — Урсула Монктон, косматое чудовище из дерюги, червь и блоха, поймают меня, попытайся я покинуть поместье. Наверняка.

Но Урсула Монктон заперла меня. Она не ожидала, что я сбегу.

И, может быть, если повезет, ее отвлекут.

Я открыл окно и прислушался к ночным шорохам. Легонько шумел, почти шелестел дождь. Ночь выдалась холодная, а я и так порядком озяб. Сестра в соседней комнате смотрела телевизор. Она ничего не услышит.

Я вернулся к двери и выключил свет.

Прошел по темной комнате и снова забрался на кровать.

Я в постели, мысленно твердил я. Лежу в постели и расстраиваюсь. Скоро усну. Я в постели, я отчаялся, она победила, и если она захочет проверить, я в постели и сплю.

Я в постели, я засыпаю... Даже глаза разлепить не могу. Сон накатывает. Я быстро засыпаю, в постели...

Я встал на кровать и вылез в окно. Секунду повисел и спрыгнул на балкон тише тихого. Это было несложно.

Пока я рос, я вычитал в книгах столько примеров для подражания. По большей части они научили меня, что и когда нужно делать, как себя вести. Они были мне советчиками и наставниками. В книгах мальчишки лазили по деревьям, и я тоже лазил, иногда очень высоко, всегда опасаясь свалиться. В книгах забирались в дом и вылезали оттуда по водосточной трубе, и я тоже карабкался и спускался по водостоку. То были старые добрые трубы, тяжелые, из железа, привернутые к кирпичной стене, не сегодняшние пластиковые пустышки.

Я никогда еще не лазил по водосточной трубе в темноте и под дождем, но я знал, где зацепиться ногой. Еще я знал, что упасть с высоты в двадцать футов на мокрую клумбу — не самое страшное, страшнее было то, что моя труба шла вдоль окна гостиной, где точно сидели у телевизора Урсула Монктон с отцом.

Я старался не думать.

Я полез на стену у балкона, потянулся и нащупал железную трубу, холодную и скользкую от дождя. Ухватился и, сделав большой шаг к ней, пристроил босую ногу на металлическую скобу, которая опоясывала водосток и крепко держала его на кирпичках.

Я двигался вниз, поочередно переставляя ноги и воображая себя Бэтменом, воображая себя сотней героев и героинь из историй про школу, а потом, опомнившись, я принялся воображать себя каплей дождя на стене, на кирпичной кладке, на дереве. *Я лежу на кровати, мысленно повторял я. Меня здесь нет, нет подо мной этого света, рвущегося из незашторенной гостиной и превращающего дождь на стекле в сетку из блестящих линий и черточек.*

Не смотри на меня, думал я. Не выглядывай в окно.

Я медленно пополз дальше. Так бы я перешел на карниз, но только не в этот раз. Осторожно я преодолел еще несколько дюймов, и, поглубже спрятавшись в тень, подальше от света, с ужасом заглянул в комнату, ожидая встретить взгляд отца и Урсулы Монктон.

В комнате было пусто.

Горел свет, работал телевизор, но на диване никого не было, и дверь в коридор была открыта.

Я легко перешагнул на карниз, отчаянно надеясь, что они не вернуться и не увидят меня, потом спрыгнул на клумбу. Мокрая земля была мягкой.

Я собрался бежать, бежать без оглядки, но заметил свет в большой гостиной — отделанной дубом комнате, которую открывали по особым случаям, и куда детям ходить запрещалось.

Гардины были задернуты. Они были зеленые, бархатные, в белую полоску, сквозь щели в ткани просачивался свет, рассеянный и золотистый.

Я приблизился к окну. Шторы были неплотно опущены. Я мог заглянуть в комнату и посмотреть, что там делается.

Я не очень понимал, что происходит у меня на глазах. Отец прижимал Урсулу Монктон к большому камину у дальней стены. Он стоял спиной ко мне. Она тоже, руками упираясь в огромную каминную полку. Он обхватил ее сзади. Юбка была задрана и моталась у нее вокруг талии.

Я толком не понял, что они делали, да и мне было все равно в тот момент. Главное, что Урсула Монктон отвлеклась от меня; я повернул прочь от щели в занавесках, от этого света, от дома и босиком бросился наутек в дождливую темень.

Хотя было не так уж темно. Стояла облачная ночь — из тех, когда кажется, что облака собирают свет дальних уличных фонарей и домов, возвращая его обратно на землю. Я смог различать предметы, как только глаза освоились. Я помчался в конец сада, мимо компостной кучи, по кособогу к проселку. Ежевичные шипы кололись и впивались в ноги, но я продолжал бежать.

Я перелез через низкую металлическую ограду на проселок. Оказавшись за пределами поместья, я почувствовал, будто бы головная боль, которой я, сам того не подозревая, мучился, вдруг рассеялась. Я тут же торопливо зашептал «Лэтти? Лэтти Хэмпсток?», мысленно повторяя, *Я в кровати. Мне все это снится. Такие живые сны. Я в кровати*, правда, я думал, что в тот момент Урсуле Монктон было не до меня.

Я бежал, а перед глазами стоял отец, его руки, обвинившие эту-якобы-экономку, вот он целует ей шею, вот держит меня в ванне, его лицо сквозь ледяную толщу воды — я больше не боялся того, что случилось в ванной; я боялся того, что означал этот поцелуй в шею и отцовские руки, задравшие юбку Урсуле Монктон.

Мои родители были единым целым, неприкосновенным и нераздельным. Будущее вдруг стало зыбким: могло произойти все, что угодно; поезд моей жизни сошел с рельсов и теперь несся вместе со мной через поля по проселку.

Я бежал, и проселочная галька корябала ноги, но мне было все равно. Я был уверен, что скоро это существо, Урсула Монктон, закончит свои дела с отцом. Может, они вместе пойдут наверх проверить меня. Она обнаружит, что я сбежал и погонится за мной.

Я прикинул, *если они и станут ловить меня, то на машине*. Я покрутил головой в поисках какой-нибудь прорехи в живой изгороди у проселка. Заметил деревянный перелаз, вскарабкался по нему и помчался через луг, босой, в липнувшей к ногам, мокрой до колена пижаме и ночной рубашке, и сердце грохотало в груди, как самый большой, самый мощный в мире барабан. Я бежал, не думая про коровьи лепешки. На лугу ногам было вольготнее, чем на галечном проселке. По траве бежать было радостнее, я острее чувствовал жизнь.

Позади пророкотал гром, хотя молнии не было видно. Я перелез через ограду, и нога

ушла в податливую, свежевспаханную землю. Я заковылял через поле, иногда падая, но продолжая идти. Снова перелаз, и снова поле, на сей раз невспаханное — я шел по нему вдоль живой изгороди, боясь выходить на открытое место.

Вдруг темноту прорезал слепящий свет, на проселке показалась машина. Я застыл на месте, зажмурил глаза и вообразил себя спящим в постели. Машина, не затормозив, скрылась, лишь вдалеке виднелись красные отблески фар: это был белый фургон, который вроде бы принадлежал Андерсам.

Теперь проселок казался еще опаснее, и я припустил через луг. Добежал до следующего поля, увидел изгородь из натянутой проволоки — сквозь такую легко пролезть, и она не колючая, но только я ухватился за проволочную нить, потянул вверх, готовый нырнуть в щель, как...

Меня словно ударили, и ударили со всего маха, в грудь. Рука, сжимавшая проволоку, конвульсивно дергалась, ладонь горела, будто я только что локтем врезался в стену.

Я отпустил электрический провод и, спотыкаясь, побрел дальше. Бежать я уже не мог, но все равно шел в темноте сквозь ветер и дождь, торопливо пробираясь вдоль изгороди и стараясь не касаться ее, пока не добрался до жердяных ворот. Прошел ворота и устремился через поле в дальний конец, где было потемнее — деревья, подумал я, перелесок — от края поля я держался на расстоянии, на случай если там меня поджидает электрическая изгородь.

Я задумался, куда идти дальше. Как будто в ответ сверкнула молния, и на секунду, а мне больше и не нужно было, все осветилось. Я увидел деревянный перелаз и бросился к нему.

Вскарабкался. Прыгнул и понял, что угодил в крапивные заросли — голые ноги обожгло, пошли колючие мурашки, но я вновь бросился бежать — бежать, что есть силы. Я надеялся, что не сбился с пути. Не должен был сбиться. Еще одно поле осталось позади, и тут я понял, что больше не знаю, где проселок, то есть не знаю, где и я сам. Я знал одно: ферма Хэмпстоков — в самом конце проселка, но сейчас я блуждал посреди темного поля, тучи сгустились, ночь хоть глаз выколи, шел дождь, пусть уже и не сильный, а в темноте мне мерещились волки и призраки. Я старался остановить свою фантазию, запретить себе думать, но не мог.

И позади волков, призраков и ходячих деревьев мне виделась Урсула Монктон, она грозила, что если еще раз ослушаюсь, будет намного хуже, и она запрет меня на чердаке.

Я не был отважным. Я бежал от всего, мне было холодно, я вымок и заблудился.

Я закричал во весь голос: «Лэтти? Лэтти Хэмпсток! Ну отзовись же!», но ответа не последовало, да я его и не ждал.

Гром заворчал, зарычал, зашелся в низком протяжном рыке — лев, которого разозлили, и молния засверкала-замигала, как перегоревшая неоновая лампа. В свете зарниц я видел, что поле кончилось, живая изгородь встала сплошной стеной, прохода не было. Не было ни ворот, ни перелаза, кроме того — на другом конце поля, через который я сюда и попал.

Раздался треск.

Я посмотрел в небо. Я видел молнию в фильмах по телевизору — длинные, ломаные, ветвистые полосы света поперек тучи. Молния, которую я видел собственными глазами, была простой белой вспышкой сверху, как у фотоаппарата, выжигавшей на окоеме проплешины. Но тогда я в небе увидел не вспышку.

И не ветвистую молнию.

В небе змеился слепящий иссиня-белый свет. Он то гас, то снова вспыхивал, и его drobные всполохи освещали луг, так что я мог оглядеться. Дождь забарабанил сильнее, и, хлестнув меня по лицу, вмиг перешел в ливень, за считанные секунды ночная рубашка промокла до нитки. Но я успел увидеть — или мне только привиделось — дырку в изгороди справа и, не в силах уже бежать, засеменял к ней в надежде, что она и вправду

там есть. Мокрая ночная рубашка хлопала на ветру, наводя на меня ужас.

В небо я больше не смотрел. И не оглядывался.

Но мне был виден край поля, и в изгороди на самом деле была прогалина. Я почти добрался до нее, когда раздался голос:

«Кажется, я сказала тебе оставаться в комнате. И что же я вижу, ты рыщешь по округе, как моряк-утопленник».

Я обернулся, посмотрел — пусто. Никого.

Я поднял голову.

Существо, называвшее себя Урсолой Монктон, висело надо мной в воздухе на высоте примерно двадцати футов, и молнии, сверкая, ползли по небу за ней. Она не летела. Она плыла, бесплотная, как воздушный шар, а порывистый ветер ее не трогал.

Он выл и хлестал меня по лицу. На отдалении ревел гром, и громы поменьше потрескивали и недовольно бурчали, а она говорила тихо, но я мог отчетливо слышать каждое слово, будто она шептала мне в ухо.

«Ах ты, душа-дорогуша, испугался, а ведь дело твое дрянь, доигрался».

Она улыбалась, и такого широченного и зубастого оскала у человека я еще не видел, только веселья на лице не было.

Я бежал от нее сквозь тьму уже, наверное, полчаса? Час? Зря я не остался на проселке и побежал в поля. Теперь был бы на ферме у Хэмпстоков. А вместо этого заблудился, да еще и попался.

Урсула Монктон спустилась ниже. Розовая блузка была расстегнута. Под ней виднелся белый бюстгальтер. Юбка развевалась на ветру, открывая икры ног. Непохоже было, чтобы Урсула Монктон промокла, несмотря на грозу. Ее одежда, лицо, волосы были совершенно сухими.

Она плыла надо мной и тянулась ко мне руками.

Каждое ее движение сопровождалось резкой вспышкой угодливых молний, которые сверкали и сплетались вокруг нее. Ее пальцы раскрывались, как цветы в замедленном фильме, и я знал, что она играет со мной, знал, чего она хочет, и ненавидал себя за то, что подчиняюсь ее желанию и бегу.

Я был для нее потешной зверушкой. Она играла, так же, как Монстр, толстый рыжий котяра, играл с мышью — отпуская ее, и когда та побежит, подцепляя ее когтем и подминая под лапу. Но мышь все бежала и бежала, и у меня не было выбора, и я бежал.

Бежал к проему в изгороди, как можно быстрее, бежал мокрый, спотыкаясь и калеча себя.

Я бежал, а в ушах звенел ее голос.

«Я же говорила, что запрю тебя на чердаке? И я запрю. Твой папочка теперь меня любит. Он сделает все, что я скажу. Я думаю, каждую ночь он будет залезать по приставной лестнице на чердак и выпускать тебя. Он будет волочить тебя вниз по лестнице. С чердака. И каждую ночь топить в ванне — в холодной-холодной воде. Я скажу топить тебя каждую ночь, а когда мне наскучит, прикажу не вытаскивать тебя, просто держать под водой, пока не прекратишь дергаться, пока в легких не останется ничего, кроме воды и темноты. Я заставлю его бросить тебя в холодной ванне, и ты больше никогда не шелохнешься. А я каждую ночь буду снова и снова его целовать...»

Я юркнул в проем и помчался по мягкой траве.

Треск молний и странный, резкий, металлический запах были так близко, что мороз пошел по коже. Иссиня-белые всполохи становились ярче и ярче, освещая все вокруг.

«И когда папочка наконец оставит тебя лежать в ванне, ты будешь счастлив», —

прошипела Урсула Монктон, и мне показалось, что ее губы коснулись моих ушей. «Потому что на чердаке тебе не понравится. Да, там темно, пауки и привидения. А еще я приведу своих друзей. При свете дня их не видно, но на чердаке они составят тебе компанию, и она будет тебе не в радость. Мои друзья не любят маленьких мальчиков. Они — пауки величиной с собаку. Бестелесная старая ветошь, она вцепится в тебя мертвой хваткой. Заберется в мозги. И тут тебе никаких больше историй и книжек, никаких, никогда».

И я понял, что мне не показалось. Ее губы касались моего уха. Она плыла позади, так что ее голова была рядом с моей, поймав мой взгляд, она улыбнулась своей притворной улыбкой, и я замер как вкопанный. Я едва мог пошевелиться. В боку колело, я задыхался, сил не было.

Ноги у меня подкосились, я споткнулся и упал, и на сей раз уже не поднялся.

По ногам разлилось тепло, я опустил взгляд и увидел желтую струйку, выбивавшуюся из пижамных штанов. Мне было семь лет, уже не маленький ребенок, но со страха обмочился, как малышка, и ничего не мог с этим поделать, а Урсула Монктон все висела в воздухе и безучастно наблюдала за мной.

Охота была окончена.

Урсула Монктон стояла в воздухе, выпрямившись, на высоте трех футов над землей. Я растянулся на спине в мокрой траве прямо под ней. Она начала опускаться медленно, неумолимо, как человеческая фигура на экране сломанного телевизора.

Левой руки что-то коснулось. Что-то мягкое. Оно тыкалось носом в руку, и я посмотрел туда, боясь, что это паук величиной с собаку. В свете молний, корчившихся вокруг Урсулы Монктон, я увидел темное пятно. Темное пятно с белой отметиной на ухе. Я подхватил котенка, поднес к груди и прижал к сердцу.

«Я не пойду с тобой. Ты меня не заставишь», — проговорил я. И сел, потому что, сидя, я чувствовал себя не таким уязвимым, а котенок свернулся калачиком, поудобней устроившись в моей руке.

«Дорогуша-душа-душа», — начала Урсула Монктон. Она коснулась ногами земли в зареве молний, похожая на портрет женщины в серых, зеленых и синих тонах, а не на живого человека. «Ты же лишь маленький мальчик. А я взрослая. Я была взрослой, когда твой мир был шариком из расплавленной магмы. Я могу сделать с тобой все, что захочу. А теперь поднимайся. Я забираю тебя домой».

Котенок, тыкаясь мордочкой мне в грудь, издал пронзительный звук, но не «мяу». Я отвел глаза от Урсулы Монктон и обернулся.

Через поле к нам шла девочка в блестящем красном дождевике с башлыком и черных резиновых сапогах, казавшихся слишком большими для нее. Она без страха вышла из темноты. Посмотрела на Урсулу Монктон.

«Убирайся с моей земли», — приказала Лэтти Хэмпсток.

Урсула Монктон отступила на шаг, поднимаясь в воздух, и зависла над нами. Лэтти Хэмпсток подошла, и, не сводя с нее взгляда, взяла меня за руку, наши пальцы сцепились в замок.

«Я не касаюсь твоей земли, — ответила Урсула Монктон. — Прочь с дороги, девочка».

«Ты на моей земле», — отрезала Лэтти Хэмпсток.

Урсула Монктон улыбалась, и молнии в корчах обвивались вокруг нее. Вот так, стоя в потрескивающем воздухе, она была воплощением силы. Она была буря, молния, весь взрослый мир с его мощью и собственными секретами, с этой его дурацкой обыденной жестокостью. Она подмигнула мне.

Я был семилетним мальчишкой с разодранными ногами. Я только что обмочился. А висевшее надо мной существо было громадным и жаждало крови, оно хотело закрыть меня на чердаке, а когда я ему надоем, оно заставит папу убить меня.

Держась за руку Лэтти Хэмпсток, я чувствовал себя уверенней. Но Лэтти была лишь девочка, пусть даже и большая, пусть ей было одиннадцать, даже если ей было одиннадцать уже много-много лет. Урсула Монктон была взрослой. И в тот момент было не важно, что она стала живым воплощением каждого монстра, ведьмы, каждого ночного кошмара. Она была взрослой, а когда взрослые выступают против детей, взрослые всегда побеждают.

«Перво-наперво ты должна вернуться туда, откуда явилась. Тебе здесь небезопасно. Ради себя самой, ступай обратно», — сказала Лэтти.

Воздух наполнился странным, мерзким, уродливым, болезненным скрежетом, я съезжился, а котенок, упершись передними лапами мне в грудь, весь подобрался и ошетинился. Он прополз вверх и, вцепившись когтями в мое плечо, зашипел и зафыркал. Я поднял голову на Урсулу Монктон. И только увидев ее лицо, понял, что это был за скрежет.

Урсула Монктон смеялась.

«Ступай обратно? Когда твои родные пробили брешь в вечности, я не дремала. Я могла бы править мирами, но я пошла за вами и затаилась, набравшись терпения. Я знала, что рано или поздно пути ослабнут, и я ступлю на истинную Землю под Солнце горнее. — Она уже не смеялась. — Все здесь такое хрупкое, девочка. Все ломается так легко. Их желания столь незатейливы. Я возьму от здешнего мира все, что захочется, как пухлощекий ребенок, жадно обрывающий придорожную ежевику».

На сей раз я не выпустил руку Лэтти. И крепче сжал котенка, коготками-иголками уцепившегося за мое плечо, он в ответ куснул меня, с испуга.

В бешеных порывах ветра ее голос слышался отовсюду. «Ты долго меня сюда не пускала. А тут сама притащила дверь, вот я и воспользовалась мальчишкой — выбралась из клетки. И что ты теперь можешь сделать, когда я уже на свободе?»

Вроде бы Лэтти не злилась. Она задумалась и предложила: «Можно сотворить тебе новую дверь. А еще лучше, попросить бабушку отправить тебя через океан обратно, откуда бы ты ни была родом и как бы далеко это ни было».

Урсула Монктон сплюнула в траву, и там, куда угодил плевок, зафырчал и запенился крохотный шарик огня.

«Отдай мальчишку, — только и сказала она. — Он мой. Я в нем явилась сюда. Я его хозяйка».

«Что ты мелешь, никому ты тут не хозяйка, — огрызнулась Лэтти Хэмпсток. — Не ему-то уж точно». Лэтти помогла мне подняться, она встала позади и обхватила меня руками. Так мы и стояли — двое детей ночью посреди поля. Она держала меня, я держал котенка, а над нами и вокруг нас завывал голос:

«И что ты сделаешь? Заберешь его к себе? Этот мир — мир правил, девочка. Мальчишка принадлежит родителям. Заберешь его, и они явятся за ним, а родители его принадлежат мне».

«Ну, ты и докучала, — проговорила Лэтти Хэмпсток. — Вот уж пеняй на себя. Ты на моей земле. Прочь отседова».

И пока она говорила, по коже засновали мурашки, как от воздушного шарика, когда я тер его об свитер и подносил к лицу и волосам. Все ершилось и щекоталось. Мои волосы были мокрыми, но даже и так я чувствовал, как их кончики топорщатся.

Лэтти Хэмпсток крепко обняла меня. «Не бойся», — шепнула она, и я хотел было сказать что-то, спросить, почему я не должен бояться и зачем мне вообще бояться, как поле озарилось.

Оно сверкало золотом. Каждая былинка светилась и мерцала, каждый листик на дереве. Даже живая изгородь. Свет был наполнен теплом. Мне казалось, будто земля под травяным покровом из первоэлемента становится чистым светом, и от этого золотого свечения иссиня-белые молнии, все еще трещавшие вокруг Урсулы Монктон, сильно

поблекли.

Урсула Монктон, пошатываясь, поднималась, словно воздух нагрелся и погнал ее вверх. Лэтти Хэмпсток прошептала древние слова, и луг взорвался золотым светом. Я видел, как Урсулу Монктон подбросило и унесло, хотя ветра не чувствовалось, но ее швыряло и вертело, точно сорванный лист в ураган, так что ветер, наверное, был. Я смотрел, как она кувыркается в ночном небе, а потом Урсула Монктон и ее молнии исчезли.

«Пойдем, — сказала Лэтти Хэмпсток. — Нужно усадить тебя у камина в кухне. И сделать горячую ванну. А то простудишься». Она отпустила мою руку, перестала обнимать и отстранилась. Золотое свечение таяло, медленно-медленно, пока совсем не погасло, рассыпавшись тускнеющими огоньками и искорками по кустам, как после фейерверка в ночь Гая Фокса.

«Она умерла?» — спросил я.

«Нет».

«Она же вернется. И у вас будут неприятности».

«Вполне может стать, — ответила Лэтти. — Есть хочешь?»

Она спросила, и я понял, что хочу. До этого как-то забыл, а теперь вспомнил. Есть хотелось так, что желудок крутило.

«Дай-ка подумать... — размышляла Лэтти вслух, ведя меня через поля. — На тебе места сухого нет. Надо найти, во что бы тебе переодеться. Пойду гляну в комод в зеленой спальне. Сдается мне, кузен Япет оставил там кой-какую одежду, когда ушел сражаться в Мышиных битвах. Он был не сильно больше тебя».

Котенок лизал мои пальцы своим маленьким шершавым язычком.

«Я нашел котенка», — сказал я.

«Да, вижу. Она, наверно, шла за тобой от самого поля, где ты ее выдернул из земли».

«Это *тот самый* котенок? Которого я тогда вытащил?»

«Ага. Она не сказала тебе, как ее звать?»

«Нет. А они правда так делают?»

«Иногда. Если внимательно слушать».

Прямо перед нами возникли радушные огни фермы Хэмпстоков, и меня обдало радостью, хотя я не мог понять, как мы с того поля так быстро вышли к дому.

«Тебе повезло, — продолжала Лэтти. — Еще пятнадцать футов, и там уже поле Колина Андерса».

«Но ты бы все равно пришла, — ответил я ей. — И спасла меня».

Она сжала мою руку, но промолчала.

«Лэтти, я не хочу домой», — сказал я. Это было неправдой. Больше всего на свете я хотел домой, но не туда, откуда сбежал этой ночью. Я хотел в дом, где жил до того, как добытчик опалов покончил с собой в нашем маленьком белом «мини», до того, как он переехал моего котенка.

Темный меховой шарик прижимался к моей груди, мне хотелось, чтобы это был мой котенок, и я знал, что он моим не был. Снова начал моросить дождь.

Мы зашлепали по глубоким лужам, Лэтти — в своих резиновых сапогах, я — босой, с горящими от боли ногами. Добрались до двора, там стоял резкий запах навоза, и вошли через боковую дверь в огромную кухню.

Мама Лэтти ворочала кочергой в гигантском очаге, сдвигая вместе пылающие поленья.

У плиты старая миссис Хэмпсток что-то помешивала в пузатом чугушке большой деревянной ложкой. Она подносила ложку ко рту, театрально на нее дула, втягивала глоток, причмокивала, а потом добавляла щепотку того и пригоршню этого. Наконец она выключила горелку. И окинула меня взглядом — от мокрой головы до голых ног, посиневших от холода. Пока я стоял, на плиточном полу подо мной начала собираться лужа, и вода, стекая с ночной рубашки, падала в нее звонкой капелью.

«В горячую ванну, — вынесла вердикт старая миссис Хэмпсток. — Или сляжет с простудой».

«В точности как я сказала», — согласилась Лэтти.

Ее мама уже вытаскивала жестяную ванну из-под кухонного стола и наполняла ее дымящимся кипятком из большущего черного котла, висевшего над огнем в очаге. Потом подливала кружку за кружкой холодную воду, пока не заключила, что температура подходящая.

«Все готово. Ступай, — сказала старая миссис Хэмпсток. — Ну-ка, марш!»

Я посмотрел на нее в ужасе. Мне что, придется раздеваться перед чужими людьми?

«Мы постираем и высушим твои вещи, а ночную рубашку — починим». С этими словами мама Лэтти взяла у меня рубашку, забрала котенка, которого я, оказывается, еще держал, и отошла.

Я поскорее скинул свою красную нейлоновую пижаму — ее края вымокли, штанины безнадежно порвались и снизу висели клочьями. Я потрогал воду пальцами, залез и сел в жестяной ванне в этой наполненной спокойным уютом кухне у большого огня, потом откинулся назад в горячей воде. Ноги начали пульсировать, возвращаясь к жизни. Я знал, что быть *нагишом* — против правил, но, кажется, Хэмпстоков моя нагота не смущала: Лэтти исчезла, а вместе с ней — моя пижама и ночная рубашка; ее мать накрывала на стол, вынимая разные ножи, вилки, ложки, миски маленькие и побольше, деревянные плоские и доски, раскладывая и перекладывая их с места на место.

Старая миссис Хэмпсток подала мне в кружке суп из чугушка на плите: «Похлебай. Сперва разогрей нутро».

Суп был наваристый и горячий. Я никогда не пил суп в ванне. Совершенно неведомое ощущение. Покончив с супом, я вернул ей кружку, и она вручила мне добротный кусок белого мыла и мягкую мочалку, сказав: «А теперь поскребись хорошенько. Возверни-ка жизнь и тепло в свои кости».

Она уселась в кресло-качалку по другую сторону камина и стала легонько раскачиваться, не глядя на меня.

Я чувствовал себя в безопасности. словно вся забота, внимание и доброта, какими окружают нас бабушки, без остатка собрались вдруг здесь. Я совсем не боялся Урсулы Монктон, кем бы там она ни была, сейчас уже не боялся. Здесь не боялся.

Молодая миссис Хэмпсток, раскрыв духовку, вынула румяный пирог с блестящей, сверкающей корочкой и отправила его на подоконник охлаждаться.

Мне принесли полотенце, я вытерся, подставляя бока огню, который помогал обсохнуть не хуже, чем полотенце, тут вернулась Лэтти Хэмпсток и протянула мне широченную белую штучковину наподобие девчачьей ночнушки, только из белого хлопка, с длинными рукавами, подолом до пола и белым колпаком. Я не решался надеть ее, пока до меня не дошло, что это — старинная ночная рубашка. Я видел ее на картинках в книжках. Крошка Вилли Винки бегал по городу в одной из таких в каждом моем сборнике детских потешек.

Я скользнул в нее. Колпак оказался велик и съехал мне на лицо, Лэтти его поправила.

Ужин вышел на славу. Нам досталось по куску говядины с печеной картошкой, золотистой и хрустящей снаружи, мягкой и белой внутри, с какой-то зеленью в масле, сейчас мне кажется, это были крапивные побеги и морковь, сладкая, потемневшая от готовки (я и думать не думал, что люблю вареную морковь, я практически не ел ее, но отважился и попробовал, и мне понравилось, и даже было жалко, что я не распробовал ее раньше). На десерт подали пирог с яблоками, вымоченным изюмом и молотыми орехами, сверху шел толстый слой желтого заварного крема, гуще и насыщеннее которого мне еще не приходилось есть ни в школе, ни дома.

До конца ужина котенок спал на подушке у камина, а потом вместе с домашней дымчатой кошкой, в четыре раза крупнее его самого, пошел лакомиться мясными обрезками.

За ужином о том, что случилось со мной и почему я здесь, никто не вспоминал. Хозяйки Хэмпсток говорили про ферму — в коровнике нужно выкрасить дверь, похоже, корова по кличке Рианнон вот-вот охромеет на левую заднюю ногу, надо бы прочистить дорожку к запруде.

«А вы только три здесь? — спросил я. — И никаких мужчин?»

«Мужчины! — прыснула старая миссис Хэмпсток. — Это каков же должен быть добрый молодец?! Да здесь, на ферме, я все делаю в два раза быстрее и в пять раз лучше любого из них».

Лэтти добавила: «Иногда у нас бывают мужчины. Они приходят и уходят. А прямо сейчас здесь только мы».

Ее мама кивнула. «Большинство мужчин Хэмпстоков ушли куда глаза глядят — попытать судьбу и удачу. Стоит им услышать этот зов, и здесь их ничто не удержит. Взгляд становится отсутствующим, и вот мы их потеряли, раз и навсегда. При первом удобном случае они уходят в города большие и малые и лишь редкой открыткой напомним, что вообще когда-то здесь жили».

Старая миссис Хэмпсток сказала: «А вот и его родители! Они едут сюда. Только что проехали вяз у Парсона. Их видели барсуки».

«А она с ними? — забеспокоился я. — Урсула Монктон?»

«Она? — изумилась старая миссис Хэмпсток. — Эта? Ну нет».

Я подумал с секунду. «Они меня заберут с собой, и она запрет меня на чердаке, а когда я ей надоем, велит папе убить меня. Она так сказала».

«Мало ли что она вам сказала, голубчики мои, — возразила мама Лэтти. — Нет уж, дудки, ни этого, ничего другого она не сделает, или меня звать не Джинни Хэмпсток».

Мне нравилось имя Джинни, но меня это не успокоило, и я ей не поверил. Скоро дверь в кухню откроется, и отец будет кричать на меня или подождет до машины и будет кричать там, меня заберут обратно домой на тот конец проселка, и все будет кончено.

«Постойте-ка, — стала рассуждать Джинни Хэмпсток. — Может, нас не будет, когда они явятся? Они приедут в прошлый вторник, а дома никого».

«Ни в коем случае, — урезонила ее старая женщина. — Будешь играть со временем, хлопот не оберешься... Можно во что-нибудь превратить мальчика, и как ни ищи, они никогда его не найдут».

Я заморгал. Неужели это возможно? Мне хотелось превратиться во что-нибудь. Котенок покончил с мясными обрезками (и даже, кажется, съел больше домашней кошки), запрыгнул мне в подол и принялся умываться.

Джинни Хэмпсток поднялась и вышла из комнаты. Мне было интересно, куда она пошла.

«Нельзя его ни во что превращать, — заметила Лэтти, убирая со стола оставшиеся тарелки и приборы. — Они же будут в ярости. И если ими управляет блоха, она только сильнее будет их распалать. Сами знаете, тут же нагрянет полиция и станет

прочесывать запруду. Или того хуже. Океан».

Котенок лег и свернулся калачиком, превратившись в круглый пушистый кусочек черного меха. Он закрыл свои пронзительно-синие глаза цвета океана и, мурлыча, уснул.

«Итак? — спросила старая миссис Хэмпсток. — Что же ты предлагаешь?»

Лэтти задумалась, поджав губы и поводя ими из стороны в сторону. Ее голова кивала, и я подумал, что она быстро перебирает возможные варианты. Вдруг ее лицо просветлело. «Там подрезать, тут подшить?» — предложила она.

Старая миссис Хэмпсток фыркнула. «Ты, конечно, умница, — начала она. — Я не говорю, что это не так. Но кройка... понимаешь, она вряд ли тебе по силам. Пока еще нет. Надо отрезать точно и штопать, чтобы швов не было видно. Да и что ты собралась украивать? Блоха не даст себя вырезать. Она не вшита в это полотно. Она вне его».

Вернулась Джинни Хэмпсток. У нее в руках была моя старая ночная рубашка. «Я пропустила ее через гладильный каток, — сказала она. — Но все равно она еще сырая. Ровно никак не отрежешь. И ты не любишь штопать по сырому».

Она положила рубашку на стол перед старой миссис Хэмпсток. Затем достала из большого кармана на фартуке ножницы, черные и старые, длинную иглу и шпульку красных ниток.

«Рябина-рябина и красная нить, пора бы ведьму остановить», — прочел я наизусть. Я вычитал это в одной книжке.

«Да, работает, хорошо работает, — сказала Лэтти. — Если в деле замешана ведьма. Только у нас ведьмы нет».

Старая миссис Хэмпсток разглядывала мою рубашку. Та была бурой и полинялой с каким-то коричневатым рисунком вроде шотландской клетки. Мне ее подарили на день рождения несколько лет назад бабушка с дедушкой, родители отца, тогда она была слишком большая и смешно болталась. «Может быть... — проговорила старушка, словно беседуя сама с собой. — Лучше всего сделать так, чтобы твой отец сам с удовольствием оставил тебя здесь на ночь. Но для этого надо бы избавить их от злости на тебя и даже от беспокойства...»

Черные ножницы были уже у нее в руке, клик-клик-кляц-кляца по ткани, когда я услышал стук в парадную дверь, и Джинни Хэмпсток пошла открывать.

«Не отдавайте меня», — попросил я Лэтти.

«Тшш, — сказала она. — Пока бабушка раскраивает, у меня тут своя работа. А ты спи, не волнуйся. И спи спокойно».

Но спокойствия я совсем не чувствовал, и сна не было ни в одном глазу. Лэтти перегнулась через стол и взяла меня за руку. «Не бойся», — успокаивала она.

Тут дверь распахнулась, мои родители вошли в кухню. Мне захотелось спрятаться, но котенок не подавал признаков беспокойства и лишь поудобнее устроился в подоле, а Лэтти улыбалась обнадеживающей улыбкой.

«Мы ищем своего сына, — начал было отец. — И у нас есть основания полагать...», а мама тут же бросилась ко мне. «Вот где он! Дорогой, мы так волновались, чуть с ума не сошли!»

«Ну что, молодой человек, нажил ты себе неприятностей», — сказал отец.

Кляц! Кляц! Кляц! Заработали черные ножницы, и неровный лоскут ткани, который выкраивала старая миссис Хэмпсток, упал на стол.

Родители застыли. Они перестали говорить и больше не двигались. Рот у отца все еще был открыт, а мама стояла на одной ноге, не шелохнувшись, как манекен в витрине магазина.

«Что... что вы с ними сделали?» Я не знал, радоваться мне или огорчаться.

Джинни Хэмпсток ответила: «Они в порядке. Просто немного подрезали, сейчас подлатаем, и все будет новое, как с иголки». Она наклонилась над столом, показывая на обрезок полинялой рубашки в клетку. «Вот твой папа и ты в коридоре, а вот ванна. Это вырезали. А без этого твоему папе незачем на тебя сердиться».

Я не рассказывал им про ванну. Но не удивился, что она знает.

Теперь старушка вдевала красную нитку в иголку. Она картинно вздохнула, приговаривая: «Старые глаза. Старые глаза». Послуживила кончик нитки и продела его в игольное ушко без видимых трудностей.

«Лэтти. Тебе нужно узнать, какая у него зубная щетка», — сказала она. И начала зашивать дыру на рубашке мелкими, аккуратными стежками.

«Как выглядит твоя зубная щетка? — спросила Лэтти. — Давай, быстро».

«Она зеленая, — ответил я. — Ярко-зеленая. Как яблоко. Не очень большая. Простая зеленая щетка, как раз для моего рта». Я понимал, что это не очень хорошее описание. Я рисовал ее в голове, пытаюсь отыскать, чем еще она отличается от всех остальных зубных щеток. Бесполезно. Я видел ее своим мысленным взором, представлял среди других щеток в красно-белом пятнистом стакане над раковиной в ванной.

«Готово! Хорошая работа», — похвалила Лэтти.

«Я тут почти-почти закончила», — сказала старая миссис Хэмпсток.

Джинни Хэмпсток широко улыбнулась, и ее румяное круглое лицо осветилось. Старая миссис Хэмпсток схватила ножницы, клацнула ими в последний раз, и красная нитка упала на стол.

Мамина нога опустилась. Она сделала шаг и остановилась.

Отец замялся: «Мм...»

Джинни сказала: «...а наша Лэтти так обрадовалась, что ваш мальчик придет и останется у нас на ночь. Вот только боюсь, в хозяйстве мы тут немного отстали от времени».

Вмешалась старушка: «У нас же есть теперь туалет дома. Куда уж еще современной? Хотя по мне, так и на улицу сходить можно или в горшок».

«Мы хорошо поужинали, — продолжала Джинни. — Да ведь?»

«Мне дали пирога, — сказал я родителям. — На десерт».

Отец наморщил лоб. Он выглядел растерянным. Потом он сунул руку в карман куртки и вытащил что-то длинное и зеленое, верхушка была обернута туалетной бумагой. «Ты забыл зубную щетку, — сказал он. — Я подумал, она тебе пригодится».

«А теперь, если он хочет вернуться домой, то может поехать с нами, — обратилась мама к Джинни Хэмпсток. — Несколько месяцев назад он захотел остаться на ночь у Ковачей, и в девять уже названивал нам, чтобы мы его забрали».

Кристофер Ковач был на два года старше меня и на голову выше, он жил с матерью в просторном доме напротив въезда на наш проселок у старой зеленой водонапорной башни. Его мать была в разводе. Она мне нравилась. Она была замечательной и водила «фольксваген-жук», до этого я таких машин не видел. У Кристофера было много книг, которых я еще не читал, он входил в «Паффин», знаменитый клуб юного книгочея. Я мог читать его книги, но только у него дома. Он никогда не позволил бы мне взять их с собой.

В комнате у Кристофера стояла двухъярусная кровать, хотя он был единственным ребенком в семье. В ночь, когда я остался у них, меня положили внизу. Как только мы забрались в постель и мать Кристофера Ковача, пожелав нам доброй ночи, выключила

свет и закрыла дверь, он свесился сверху и начал брызгать в меня водяным пистолетом, который заранее припрятал у себя под подушкой. Я не знал, что делать.

«Здесь не так, как у Кристофера Ковача, — сказал я маме, смутившись. — Мне здесь *нравится*».

«Что на тебе *надето?*» Она с удивлением разглядывала Вилли Винкину ночную рубашку.

Джинни пояснила: «Да просто мелкое происшествие. Надел, пока пижама сохнет».

«А, ну понятно, — сказала мама. — Что ж, спокойной ночи, милый. Не скучай тут с новой подружкой. — Она взглянула на Лэтти: — Как, ты говоришь, тебя зовут, дорогая?»

«Лэтти», — ответила Лэтти Хэмпсток.

«Это сокращенное от Летисия? — спросила мама. — Была у нас в университете одна Летисия. Конечно, все ее звали Летиска-редиска».

Лэтти только улыбнулась, но ничего не ответила.

Отец положил зубную щетку на стол передо мной. Я развернул туалетную бумагу. Это в самом деле была моя зеленая щетка. Под курткой у отца виднелась чистая белая рубашка без галстука.

Я поблагодарил: «Спасибо».

«Так, — сказала мама. — А в котором часу его забрать утром?»

Джинни улыбнулась еще шире. «Да ладно, Лэтти сама его ответит. Пусть еще поиграют завтра. И прежде чем вы уйдете, вот я напекла сегодня ячменных лепешек...»

И она положила несколько лепешек в бумажный пакет, а мама вежливо взяла его, и потом Джинни проводила их с отцом до двери. Я сидел затаив дыхание, пока звук удаляющегося «ровера» не стих на проселке.

«Что вы все-таки с ними сделали? — спросил я. И тут же задал еще вопрос: — А это правда моя зубная щетка?»

«Это, — с удовольствием в голосе проговорила старая миссис Хэмпсток, — если позволите, очень недурная работа, ладно раскроено, ладно сшито». Она держала мою ночную рубашку: я не мог различить, где убрали кусок и где зашили прореху. Ни швов, ни рубцов не было. Она пододвинула отрезанный лоскут ко мне. «Вот он, твой вечер, — сказала она. — Оставь себе, если хочешь. Но я бы на твоём месте его сожгла».

По стеклу забарабанил дождь, и оконные рамы задребезжали от ветра.

Я подобрал неровную полоску ткани. Она была сырой. Потом встал, разбудив котенка; он спрыгнул и исчез в темноте. Я подошел к камину.

«Если я его сожгу, — спросил я их, — то как бы ничего и не было? И папа не держал меня в ванне? Я все забуду?»

Джинни Хэмпсток больше не улыбалась. Она посерьезнела. «А сам ты чего хочешь?» — спросила она.

«Я хочу помнить, — сказал я. — Это же случилось со мной. И я все еще я». Я швырнул клочок ткани в огонь.

Раздался треск, ткань стала дымиться и загорелась.

Я снова был под водой. Цеплялся за отцовский галстук. Думал, что он хочет меня убить...

Я закричал.

Я лежал на изразцовом полу в кухне Хэмпстоков, катаясь из стороны в сторону, и кричал. Стопа горела, словно я босиком ходил по раскаленным углям. Болело сильно.

Еще болело глубоко в груди, боль была терпимее, не такая резкая: там ныло, не жгло.

Подросла Джинни: «Что такое?»

«Моя ступня. Вся горит. Очень больно».

Она осмотрела ногу, лизнула палец и прикоснулась к дырке, откуда два дня назад я вытащил червяка. Послышалось шипение, и боль стала утихать.

«Ничего такого прежде не видела, — сказала Джинни Хэмпсток. — Как она у тебя оказалась?»

«В ней был червяк, — объяснил я. — Так она и пришла с нами из того места под оранжевым небом. В моей ноге. — Тут я посмотрел на Лэтти, которая стояла на коленях рядом, держа меня за руку, и сказал: — Я притащил ее обратно. Это я виноват. Прости меня».

Подосла и старая миссис Хэмпсток. Она наклонилась, взяла меня за ногу и повернула ее к свету. «Вот мерзавка, — сказала она. — И умная какая. Припасла дырку внутри тебя, чтобы снова воспользоваться. Если что, заберется туда, и ты будешь ей дверью домой. Не зря она хотела закрыть тебя на чердаке. Ну что? Куй железо, пока горячо, как говаривал солдат на входе в прачечную». Она потыкала в дырку пальцем. Все еще было больно, но боль слегка притупилась. Теперь это напоминало пульсирующую головную боль, только в ноге.

Что-то забилося в моей груди, как крохотный мотылек, и затихло.

Старая миссис Хэмпсток спросила: «Можешь запастись храбростью и потерпеть?»

Я не знал. На счет храбрости не был уверен. В тот вечер, мне казалось, я только и делал, что удирал от всего без оглядки. В руках у нее была игла, которой она штопала мою ночную рубашку, но сейчас она сжимала иголку так, будто вовсе не собиралась шить, а хотела уколоть меня.

Я отдернул ногу: «Что вы надумали делать?»

Лэтти сдавила мне руку. «Она уберет дырку, — пояснила она. — Я буду держать тебя за руку. Не надо смотреть, если не хочешь».

«Будет больно», — сказал я.

«Чушь собачья», — возмутилась старушка. Она развернула ногу стопой к себе и воткнула иголку... но не в ногу, как я понял после, а в саму дырку.

Больно не было.

Она стала поворачивать иглу, вытягивая ее обратно. Я замороженно смотрел, как что-то блестящее, казавшееся сначала черным, потом прозрачным, потом ртутно-переливчатым, тянулось из моей стопы вслед за кончиком иглы.

Я чувствовал, как оно уходит из тела — казалось, оно тянется вверх по ноге через пах в желудок и оттуда в грудную клетку. Оно уходило, и я чувствовал облегчение: жгучая боль отступала, а вместе с ней и страх.

Сердце странно заколотилось.

Я смотрел, как старая миссис Хэмпсток наматывает это на иголку, и все не мог до конца понять, что же я вижу. Лаз в пустоте, глубиной больше двух футов, узкий даже для земляного червя, похожий на кожу, сброшенную прозрачной змеей.

Тут ее руки замерли. «Не хочет вылезать, — проворчала она. — Цепляется».

На сердце похолодело, словно туда вонзился осколок льда. Старушка ловко крутанула запястьем, и поблескивающая штука повисла у нее на иголке, отстав от моей ноги (я поймал себя на мысли, что теперь это напоминает не столбик ртути, а склизкий серебряный след от улитки в саду).

Старая миссис Хэмпсток отпустила мою ступню, и я отнял ногу. Маленькая круглая дырочка полностью исчезла, как будто ее там и не было.

Старая миссис Хэмпсток злорадно захихикала. «Думает, всех облапошила, — сказала она. — Оставить дорогу домой внутри у мальчишки. И это называется хитрость? Нет, никакая это не хитрость. Да эти умники и гроша ломаного не стоят!»

Джинни Хэмпсток достала пустую банку из-под варенья, старушка опустила туда кончик мотающейся штуки и подняла банку вверх, чтобы та оказалась внутри целиком. Наконец она стряхнула поблескивающую невидимую дорожку с иголки и решительно завернула крышку своей костлявой рукой.

«Ха! — усмехнулась она. И снова: — Ха!»

«А можно посмотреть?» — попросила Лэтти. Она взяла банку и поднесла ее к свету. В банке штука стала лениво разворачиваться. Казалось, она плывет, словно банка наполнена водой. На свету она меняла цвет, то чернея, то наливаясь серебром.

В энциклопедии юного мастера я нашел один эксперимент, который, конечно же, и провел: если взять яйцо и подержать его над пламенем свечи, пока оно полностью не почернеет, а затем опустить его в прозрачную емкость с соленой водой, то будет казаться, что яйцо покрыто серебром — особенным, ненастоящим серебром, получившимся от игры света. Тогда я как раз думал об этом яйце.

Лэтти зачарованно смотрела. «Ты права. Она оставила дорогу домой у него внутри. Неудивительно, что она хотела держать его при себе».

«Лэтти прости, что отпустил твою руку», — сказал я.

«Ой, да брось, — ответила она. — Извинения всегда запаздывают, хорошо, хоть сожаление есть. В следующий раз держись за руку, что бы она в нас ни бросила».

Я кивнул. Кажется, ледяной осколок в сердце стал таять и ко мне вернулось чувство, что я в целости и сохранности.

«Итак, — сказала Джинни. — Мы перекрыли ей путь домой. И мальчику ничего не грозит. Сегодня ночью мы славно потрудились, это уж точно».

«Но у нее остались родители мальчика, — заметила старая миссис Хэмпсток. — И его сестра. Не будет же она разгуливать у нас на свободе, как ветер в поле? Ты вспомни, что вышло при Кромвеле. И раньше тоже. Когда Рыжий Руфус шатался по округе. За блохами приходят хищники». Она произнесла это так, словно это был закон природы.

«Ничего, обождет до завтра, — сказала Джинни. — А ну-ка, Лэтти. Возьми юношу и найди ему комнату на ночь. У него был долгий день».

Черный котенок, свернувшись, лежал на кресле-качалке. «Можно, я возьму с собой котенка?»

«Если не возьмешь, — сказала Лэтти. — Она сама пойдет и найдет тебя».

Джинни достала два подсвечника с большими круглыми ручками, на каждом высилась бесформенная груда белого воска. Она зажгла лучину от огня в камине и поднесла ее сначала к одному подсвечнику, потом — к другому. Затем отдала один — мне, а другой — Лэтти.

«У вас что, нет электричества?» — спросил я. На кухне с потолка свешивались большие старые лампочки, нить накаливания у них светилась.

«В той части дома нет, — ответила Лэтти. — Кухня новая. Более-менее. Когда идешь, прикрывай ладонью свечу — чтобы не погасла».

С этими словами она сложила ладонь чашечкой и поднесла к пламени, я сделал как она и направился следом. Черный котенок вышел за нами из кухни через белую деревянную дверь и, прыгнув за порог, оказался в доме.

Вокруг была темнота, и наши свечи отбрасывали гигантские тени; пока мы шли, мне казалось, что из-за них все приходит в движение: дедовы часы, чучела животных и птиц (*неужто* чучела? Все думал я. Этот сыч шевельнулся, или в пламени свечи мне лишь почудилось, что он повернул голову, когда мы проходили?), стол в коридоре, стулья. Все они двигались, и все стояли как вкопанные. Поднимаясь по ступенькам, мы миновали несколько пролетов и поравнялись с открытым окном.

Лунный свет заливал лестницу, он был ярче наших свечей. Я глянул в окно и увидел полную луну. Ясное небо было усеяно звездами без числа и без счета.

«Вот это луна», — восхитился я.

«Ба любит такую», — сказала Лэтти Хэмпсток.

«Но вчера был полумесяц. А тут полная. А еще шел дождь. Только что шел. И уже нет».

«Ба любит, чтобы с этой стороны дома светила полная луна. Она говорит, это успокаивает и напоминает ей детство, — продолжала Лэтти. — И на лестнице не оступишься».

Котенок поднимался за нами, смешно прыгая по ступенькам. Я улыбнулся.

В доме на самом верху была комната Лэтти, а рядом с ней — еще одна, туда мы и вошли. В камине пылал огонь, расцветивая все вокруг оранжевым и желтым. Комната манила теплом и уютом. В каждом углу кровати стоял столб, и у нее были свои занавеси. Что-то такое я видел в мультфильмах, но в жизни — никогда.

«Твои вещи уже приготовлены, наденешь их утром, — объяснила Лэтти. — Если что, я сплю в комнате рядом, вдруг что-то понадобится, ты просто крикни или постучи, и я тут как тут. Ба сказала тебе пользоваться домашней уборной, но туда долго идти и ты можешь заблудиться, так что, если захочется, под кроватью стоит ночной горшок, самый что ни на есть обычный».

Я задул свечу и нырнул под занавеси в кровать.

В комнате было тепло, но постель была холодной. Ее тряхнуло — что-то приземлилось, и по одеялам забарабанили маленькие лапки, меховой комочек уткнулся мне в лицо и тихо заурчал.

Дома все еще хозяйничал монстр, и за ничтожный отрезок времени, который вроде бы извлекли из реальности, случилось столько всего: отец держал меня под водой в ванне, возможно, пытаясь утопить. Я долго бежал в темноте. Я видел, как отец целует и трогает существо, называвшее себя Урсолой Монктон. Страх не оставил меня.

Но тут, на подушке, лежал котенок, он урчал мне в лицо и в такт своему урчанию мерно подрагивал; я очень скоро заснул.

В ту ночь в том доме мне снились странные сны. Я проснулся в темноте и помнил только, что сон был ужасно страшный — не проснулся бы, точно умер, но, как я ни силился, сам сон не мог припомнить. Он преследовал меня, незримо находясь позади — как затылок, который и здесь, и не здесь.

Я скучал по отцу и по маме, по своей кровати у меня дома всего лишь в миле отсюда. Скучал по тому, как было до Урсулы Монктон, до папиной ярости, до ванны. Я хотел, чтобы все вернулось, очень-очень хотел.

Я попытался восстановить сон, выбивший меня из колеи, но он ускользал. Я знал, в нем было предательство, утрата и время. Из-за него я боялся снова заснуть: камин почти погас, и только угольки рдели, напоминая, что когда-то он горел и давал свет.

Я слез с этой остолбленной кровати, пошарил под ней и нащупал тяжелый фарфоровый горшок. Задрал рубашку и справил нужду. Потом подошел к окну и выглянул. Луна была еще полной, но висела в небе низко и светилась темно-оранжевым светом: мама называла такую луну урожайной. Но я-то знал, урожай собирали осенью, а не весной.

Из окна было видно, как в оранжевом лунном свете ходит взад и вперед старушка — я был почти уверен, что это старая миссис Хэмпсток, хотя толком разглядеть ее лицо не удавалось. Она держала большую длинную палку и при ходьбе опиралась на нее, как на посох. Она напомнила мне солдат на параде, которых я видел во время поездки в Лондон, они маршировали туда и обратно у Букингемского дворца.

Я посмотрел-посмотрел на нее и успокоился.

В темноте я залез обратно в постель, положил голову на пустую подушку с мыслью, что теперь мне никак не уснуть, а когда снова открыл глаза, увидел, что уже утро.

На стуле у кровати лежала невиданная одежда. А на маленьком деревянном столике стояло два фарфоровых кувшина, один — с дымящимся кипятком, другой — холодный, и лохань, которая, как я понял, служила раковиной. Пушистый черный котенок лежал в изножье кровати. Стоило мне сесть, как он открыл свои яркие, синие с зеленью, глаза — необычные, странные, как летнее море — и пронзительно мяукнул, словно спрашивая о чем-то. Я погладил его и выбрался из постели.

Я смешал воду в лохани и вымыл лицо и руки. Потом холодной водой прополоскал рот. Зубной пасты не было, зато я нашел маленькую круглую жестяную баночку, на которой старинными буквами было выведено «Необычайно действенный зубной порошок Макса Мелтона». Я подцепил своей зеленой щеткой немного порошка и почистил зубы. На вкус он отдавал лимоном и мятой.

Я стал рассматривать одежду. Раньше мне никогда ничего подобного носить не доводилось. Трусов не было. Была белая нижняя рубашка без пуговиц, но с длинным подолом. Коричневые штаны до колен, длинные белые чулки и каштановый пиджак, со спины похожий на хвост ласточки. Бежевые носки больше напоминали чулки. Я как мог оделся, жалея, что вместо замков и застежек тут были крючки, пуговицы и тугие, неподатливые петли.

На туфлях спереди красовались серебряные пряжки, но туфли были слишком велики, так что пришлось выйти из комнаты в чулках; котенок последовал за мной.

Прошлой ночью по дороге в спальню я поднялся по лестнице и на самом верху повернул налево. Сейчас я повернул направо и мимо комнаты Лэтти (ее дверь была приоткрыта, в комнате никого не было) пошел к лестнице. Однако там, где мне помнилось, ее не было. Коридор заканчивался стеной и окном, глядевшим на леса и поля.

Черный котенок с сине-зелеными глазами громко мяукнул, будто привлекая внимание, а потом, высоко подняв хвост, важно зашагал обратно по коридору. Он повел меня за угол, и по проходу, которого я раньше не видел, мы вышли к лестнице. Котенок мячиком запрыгал по ступенькам, и я тоже стал спускаться.

У лестницы стояла Джинни Хэмпсток. «Хорошо поспал, долго, — сказала она. — Мы уже

и коров подоили. Завтрак ждет тебя на столе, а для твоего друга припасено у камина блюдце со сливками».

«А где Лэтти, миссис Хэмпсток?»

«Отлучилась ненадолго, достает все, что ей может понадобится. Нужно убрать это существо из твоего дома, иначе быть беде, иначе будет хуже. Лэтти однажды уже попыталась связать его, но оно ускользнуло, и теперь ей нужно отправить его обратно».

«Я только хочу, чтобы Урсула Монктон ушла, — сказал я. — Я ее ненавижу».

Джинни Хэмпсток пальцем провела по моему пиджаку. «В наши дни такую одежду уже не носят, — проговорила она, — ну ничего, матушка подфасонила ее немного, никто и не заметит. Можешь разгуливать в ней сколько душе угодно, никому в голову не придет, что она какая-то странная. А где туфли?»

«Не подошли».

«Ну, тогда у меня есть для тебя кое-что подходящее, найдешь у черного хода».

«Спасибо».

И она снова заговорила: «Я не испытываю к ней ненависти. Она делает, что ей положено по природе. Она спала, проснулась, а теперь пытается дать каждому, что он хочет».

«Я от нее ничего такого не получил. Она говорит, что запрет меня на чердаке».

«Вполне может стать. Она явилась сюда через тебя, опасно быть дверью. — Указательным пальцем она постучала мне по груди — над сердцем. — И лучше ей отправиться туда, где она и была. Мы бы спокойно отправили ее домой — проделывали такое с ними не раз и не два. Но эта попалась упертая. Ничему не учатся. Ну да ладно. Завтрак на столе. Если что, я на девятиакровом поле».

На кухонном столе стояла тарелка каши, рядом с ней — блюдце с большим куском золотистого сота и молочник с жирными желтыми сливками.

Я отколупал ложкой немного сота, добавил его в густую кашу и налил в тарелку сливок.

Еще там был тост с домашним вареньем из ежевики, его поджарили на гриле, точь-в-точь как делал отец. И чашка самого вкусного чая. У камина котенок лакал из блюдечка сливки и урчал так громко, что было слышно на другом конце комнаты.

Если бы и я мог урчать. Вот бы тогда заурчал.

Вошла Лэтти, в руках у нее была старомодная хозяйственная сумка — с такими бабушки обычно ходили по магазинам, вместительные плетеные сумки с веревочными ручками, почти корзины, снаружи отделанные соломкой из рафии, а изнутри — тканью. Сумка была почти полная. Одна щека у Лэтти была расцарапана, но кровь уже запеклась. Она выглядела очень расстроенной.

«Привет», — сказал я.

«Знаешь, — начала она, — вот что я тебе скажу: если думаешь, что я всласть повеселилась, то знай, совсем мне было не весело, ни граммулечки. Мандрагоры так орут, когда ты их тащишь наружу, а затычек для ушей у меня не было, и в обмен отдала бутылку-тенеловку, давнишнюю, с кучей теней в уксусном растворе...» Она намазала маслом тост, положила на него ломоть золотистого сота и принялась смачно жевать. «И все это, чтобы заманить меня на этот восточный рынок, а сами еще и не думали открываться. Но все-таки большинство из того, что мне нужно, я там раздобыла».

«А дай посмотрю?»

«На, если хочешь».

Я заглянул в корзину. Она была заполнена сломанными игрушками: кукольными глазами, головами, руками, машинками без колес, побитыми шариками из кошачьего глаза. Лэтти потянулась и достала с подоконника банку из-под варенья. Внутри

серебристо-прозрачный лаз, проточенный червем, двигался, свивался в кольца, извивался, поворачивался. Лэтти опустила банку в хозяйственную сумку со сломанными игрушками. Котенок спал, не обращая на нас никакого внимания.

Лэтти сказала: «Для этого тебе не обязательно идти со мной. Можешь остаться тут, пока я пойду и поговорю с ней».

Я поразмыслил. «Мне с тобой спокойнее», — ответил я ей.

Казалось, это ее не обрадовало. Она предложила: «Давай спустимся к океану». Котенок открыл свои чересчур синие глаза и проводил нас равнодушным взглядом.

У бокового входа меня ждали черные кожаные сапоги, похожие на сапоги для верховой езды. На вид они были старые, но ухоженные, и как раз моего размера. Я надел их, хотя в сандалиях мне было удобнее. Вместе с Лэтти мы направились к ее океану, то есть к пруду.

Мы уселись на старой скамье и стали смотреть на безмятежную бурю глади пруда, на листья кувшинок и тину от ряски у берега.

«Вы, Хэмпстоки, не люди», — сказал я.

«Нет, люди».

Я замотал головой. «Спорим, вы и выглядите не так, — продолжал я. — На самом-то деле».

Лэтти пожала плечами: «Все выглядят иначе, чем изнутри. И ты. И я. Люди гораздо сложнее. Все-все».

Я спросил: «А ты тоже чудовище? Как Урсула Монктон?»

Лэтти бросила в пруд камешек. «Нет, не думаю, — проговорила она. — Чудовища бывают любой наружности и всяческого размера. Некоторых люди боятся. Некоторые ходят на тех, кого люди привыкли бояться давным-давно. Иногда людям бы надо бояться чудовищ, а они не боятся».

Я сказал: «Людьми надо бояться Урсулы Монктон».

«Может. А как ты думаешь, чего боится Урсула Монктон?»

«Понятия не имею. С чего ты взяла, что она вообще боится? Она ведь взрослая. А взрослые и чудовища не боятся».

«О, чудовища боятся, — заметила Лэтти. — Что касается взрослых...» Она замолкла, поскребла пальцем свой веснушчатый нос. И снова заговорила: «Я сейчас скажу тебе кое-что важное. Взрослые тоже изнутри не такие уж взрослые. Снаружи они большие и безрассудные, и всегда знают, что делают. А изнутри они несколько не поменялись. Остались такими же, как ты сейчас. А вся правда в том, что и нет никаких взрослых. Ни единого в целом огромном свете. — Она задумалась на секунду. И улыбнулась: — Конечно же, кроме бабули».

А потом мы сидели там рядышком на старой деревянной скамейке и молчали. Я думал о взрослых. И задавался вопросом, было ли это правдой: в самом ли деле они все дети, обернутые взрослыми телами, как детские книжки, запрятанные внутри скучных, длинных книг. Без картинок и диалогов.

«Я люблю свой океан», — заговорила наконец Лэтти.

«Но это же понарошку, — возразил я с таким чувством, словно, утверждая это, отрекался от детства. — Твой пруд. Это не океан. Так не бывает. Океан больше моря. А твой пруд — он пруд и есть».

«Больше не больше, а такой, как положено, — сердито ответила Лэтти Хэмпсток. — Пойдем лучше отошлем эту Урсулу, или как ее там, обратно, откуда она и пришла. — И добавила: — А я знаю, чего она боится. И вот что я тебе скажу. Я тоже их боюсь».

Когда мы вернулись на кухню, котенка нигде не было видно, хотя дымчатая кошка сидела на подоконнике и смотрела в окно. Остатки завтрака были прибраны, посуда вымыта, а на столе меня дожидались красная пижама и ночная рубашка, аккуратно свернутые, уложенные в большой коричневый бумажный пакет вместе с зеленой зубной щеткой.

«Ты ведь не дашь ей забрать меня?» — спросил я Лэтти.

Она покачала головой, и мы вместе пошли по петляющему галечному проселку к моему дому и к существу, называвшему себя Урсулой Монктон. Я нес коричневый бумажный пакет со своей одеждой, а Лэтти — непомерно большую плетеную сумку с поломанными игрушками, которые она выменяла на орущую мандрагору и растворенные в уксусе тени.

Дети, как я уже говорил, идут обходными путями и тайными тропами, а взрослым нужна накатанная дорога и протоптанный путь. Лэтти знала, где срезать, — мы свернули с проселка, прошли через поля в большой заброшенный сад вокруг ветшающего дома какого-то богача и оттуда снова выбрались на дорогу. Как раз в том месте, где я ночью перелез через металлическую ограду.

Лэтти потянула носом воздух. «Хищников еще нет, — заключила она. — Это хорошо».

«Что за хищники?»

Она только сказала: «Как встретишь, сразу узнаешь. Но надеюсь, ты их не встретишь».

«Проберемся туда украдкой?»

«Это еще зачем? Пойдем по дорожке и зайдем через парадную дверь, как и пристало джентри».

Мы вступили на подъездную дорожку. «Ты ее заколдуешь и прогонишь?» — поинтересовался я.

«Мы не колдуем, — возразила она. В ее словах слышалось легкое сожаление. — Иногда мы занимаемся знахарством. Но без колдовства и черной магии. Ба их не одобряет. Она говорит, это *пошло*».

«А зачем тогда весь этот хлам в твоей сумке?»

«Чтобы перекрыть отходные пути. Пометить границы».

В лучах утреннего солнца мой дом казался таким приветливым и дружелюбным. Багряные кирпичи, красная черепичная крыша. Лэтти полезла в сумку. Она вытащила кошачий глаз и сунула его в мокрую от росы землю. Затем, вместо того чтобы идти в дом, она повернула налево и двинулась вдоль ограды. У овощных грядок мистера Уоллери мы остановились, и она снова что-то вытащила из сумки — розовое кукольное тельце, без головы и без ног, с очень пожеванными руками. Она зарыла его рядом с горохом.

Мы сорвали несколько стручков и, раскрыв их, съели горошины. Горошины ставили меня в тупик. Я не мог понять, почему взрослые срывают с куста что-то вкусное и закатывают его в банки, превращая в откровенную гадость.

Под дровяным навесом Лэтти спрятала пластмассового волчонка, какие есть в настольной игре «Мой зоопарк» или «Ковчег», положив его под большой кусок угля. Там пахло сыростью, темнотой и старыми опилками.

«Эти вещи заставят ее уйти?»

«Нет».

«А зачем они тогда?»

«Чтобы она не ушла».

«Но мы же *хотим*, чтобы она ушла».

«Нет. Мы хотим отправить ее *домой*».

Я уставился на нее, изучая каштановые вихры, вздернутый нос, веснушки. Она выглядела на три-четыре года старше меня. А могла быть на три-четыре тысячи лет, а то и еще в тысячу раз старше. Я не раздумывая пошел бы за ней до самых Адовых врат. И все же...

«Жаль, что ты не можешь объяснить, как следует, — сказал я. — Говоришь и говоришь загадками».

Мне не было страшно, хотя я не смог бы вам объяснить почему. Я доверился Лэтти, как в тот раз, когда мы отправились на поиски косматого существа под оранжевым небом. Я верил в нее, а это означало, что пока я с ней, мне ничего не грозит. Для меня это было так же очевидно, как то, что трава зеленая, у роз есть шипы, а кукурузные хлопья на завтрак сладкие.

Мы пошли в дом через парадную дверь. Она была открыта — я вообще не помню, чтобы ее закрывали, если только все вместе не уезжали на отдых, — и мы зашли внутрь.

В гостиной сестра упражнялась на пианино. Мы вошли. Она услышала шорох, перестала играть «Собачий вальс» и обернулась.

Она взглянула на меня с любопытством. «Что там вчера случилось? — спросила она. — Я думала, с тобой что-то стряслось, а когда мама с папой вернулись, оказалось, ты просто ночуешь у друзей. С чего это они вообще стали говорить, что ты у друзей? Нет у тебя никаких друзей. — Тут она заметила Лэтти Хэмпсток. — А это еще кто?»

«Моя подруга, — ответил я. — А где этот жуткий монстр?»

«Не называй ее так! — взвилась сестра. — Она хорошая. У нее тихий час».

Про мою одежду сестра ничего не сказала.

Лэтти Хэмпсток вытащила из сумки сломанный ксилофон и бросила его в грудку игрушек, которая скопилась между пианино и незакрытой синей коробкой с игрушками.

«Ну вот, — сказала она. — Теперь самое время пойти поздороваться».

Страх шевельнулся в душе, защекотал сердце. «Ты хочешь сказать, пойти к ней в комнату?»

«Ага».

«А что она там сейчас делает?»

«Вмешивается в жизнь людей, — ответила Лэтти. — Пока только в жизнь местных жителей. Люди думают, будто им что-то нужно, и она пытается это дать. Так она подгоняет мир под себя, чтобы ей было тут лучше. Удобней. Почище. И она уже не особо старается осчастливить их деньгами. Сейчас она хочет побольше навредить людям».

Мы поднимались по лестнице, и на каждой ступеньке Лэтти что-нибудь оставляла: прозрачный стеклянный шарик с зелеными прожилками внутри; металлическую фигурку для игры в бабки; бусину; ярко-синие кукольные глаза, скрепленные сзади белой пластмассой, чтобы они открывались и закрывались; магнитик в виде подковы; черный камень-голыш; значок «Мне уже семь» — такие прикальвают на открытки с днем рождения; тоненький спичечный коробок, их еще называют книжицей; пластмассовую божью коровку на черном магните; наполовину сплюсненную машинку без колес; и, наконец, свинцового солдатика. У него не хватало ноги.

Мы добрались до самого верха. Дверь в комнату была закрыта. Лэтти сказала: «Она не запрет тебя на чердаке». И, без стука распахнув дверь, зашла в комнату, которая когда-то была моей; я неохотно поплелся следом.

Урсула Монктон с закрытыми глазами лежала на кровати. Она была первой взрослой женщиной, не считая моей матери, которую я видел голый, и я посмотрел на нее с любопытством. Однако комната привлекала мое внимание куда больше.

Это была моя старая комната, но как будто бы и не моя. Уже не моя. Стоял на месте маленький желтый умывальник, как раз моего размера, и стены все еще были лазоревые. Но теперь с потолка серыми, рваными бинтами свешивались лоскуты ткани, одни — длиной только в фут, другие мотались почти до самого пола. Окно было открыто, ветер колыхал их, они мрачно шуршали и качались, и казалось, что вся комната ходит ходуном, как шатер или парус корабля в море.

«Пора тебе уйти», — сказала Лэтти.

Урсула Монктон села на кровати и открыла глаза, они были того же серого цвета, что и свисающие лохмотья. «А я все гадала, как бы мне заманить вас сюда, и вот, поглядите-ка, явились», — полусонным голосом проговорила она.

«Никто нас сюда не заманивал, — огрызнулась Лэтти. — Мы пришли по собственной воле. И я даю тебе последний шанс убраться подобру поздорову».

«Никуда я сейчас не пойду, — сказала Урсула Монктон с раздражением и досадой, как малыш, которому никак не дают, что он хочет. — Я только пришла. У меня теперь есть свой дом. Свои питомцы: его отец — *душка душкой*. Я дарю людям счастье. Во всем этом мире таких, как я, больше нет. Когда вы вошли, я как раз проверяла. Я одна такая. Они не могут обезопасить себя. Они не знают как. Лучше места и не придумашь».

Она широко улыбнулась. Для взрослой она и впрямь была хороша, но когда тебе семь, красота — не императив, а лишь абстракция. Интересно, улыбнись она мне вот так сейчас, что бы я сделал: отдал бы я свою душу, сердце, всего себя целиком по первому ее слову, как мой отец?

«Думаешь, так устроен этот мир, — сказала Лэтти. — Думаешь, здесь все запросто. А вот и нет».

«Конечно же, да. Что ты еще мне скажешь? Что ты со своей семьей защитишь этот мир от меня? Ты лишь одна выходишь за пределы вашей фермы, и ты попыталась связать меня, не зная моего имени. Твоя матушка на такую глупость бы не отважилась. Я не боюсь тебя, девочка».

Лэтти пошарила в сумке. Она вытащила оттуда банку из-под варенья с прозрачным лазом, оставшимся от червя, и протянула ее Урсуле Монктон.

«Вот твоя дорога назад, — сказала она. — Пока что я добренькая и хорошая. Доверься мне. Ступай обратно. Не думаю, что ты найдешь место лучше, чем то, с оранжевым небом, где мы тебя встретили, но и туда путь неблизкий. Я не могу вернуть тебя в край, откуда ты приходишь, — я спрашивала у бабушки, она говорит, его там уже нет, — но стоит тебе вернуться, и мы подыщем тебе подходящее, похожее на него место. Где тебе будет хорошо. Где ты будешь в безопасности».

Урсула Монктон встала с кровати. Она выпрямилась и посмотрела на нас. Вокруг нее больше не обвивались молнии, но, стоя вот так, нагишом, в этой комнате, она казалась страшнее, чем тогда в бурю, когда летела по воздуху. Она была взрослой — нет, даже больше чем взрослой. Она была *старой*. А я никогда еще не чувствовал себя таким маленьким.

«А мне и здесь хорошо, — ответила она. — Очень, очень хорошо. — И потом добавила почти с сожалением: — А вам нет».

Я услышал шорох, треск рвущейся ветоши и приглушенные хлопки. Один за другим серые лохмотья сами отрывались от потолка. Они падали, но не прямо. Со всей комнаты они слетались к нам, как будто мы были для них магнитом. Первый кусок серой ткани приземлился мне на левую руку с тыльной стороны и там прилип. Я схватил его правой рукой и принялся отдиравать; он секунду сопротивлялся, а потом, чавкнув, отстал. Кожа под ним побледнела, потом налилась красным, словно я сосал ее долго-долго, дольше и яростней, чем когда-либо в жизни, она была усыпана капельками крови. Красная жидкость сочилась из крохотных дырочек, я дотронулся до нее, и она размазалась по руке, тут мои ноги начал опутывать длинный бинт, я попробовал увернуться, но кусок ткани налетел на лицо, на лоб, еще один обернулся вокруг головы, закрыв глаза и ослепив меня, я попытался стащить эту повязку, но другая тряпка обвилась вокруг

запястий, связала их вместе, полностью спеленала мне руки, примотав их к телу, я споткнулся и упал на пол.

Когда я пытался разорвать тканые путы, они больно сдавливали меня.

Перед глазами все было серо. И я сдался. Я лежал неподвижно и только старательно дышал через щелку, которую тряпки оставили моему носу. Они держали меня, и в них ощущалась жизнь.

Я лежал там и слушал. Что мне еще было делать?

Урсула сказала: «Мальчишка нужен мне невредимым. Я обещала, что запру его на чердаке, что ж, будет ему чердак. Что до тебя, маленькая девочка с фермы. Что же мне сделать с тобой? Что-нибудь этакое. Может, вывернуть тебя наизнанку, чтобы сердце, мозги, кишки — все было снаружи, а кожа — внутри. Свяжу тебя и буду держать здесь, в комнате, и глаза твои будут вечно таращиться в темноту, вовнутрь. Я могу».

«Нет, — проговорила Лэтти. И я поймал себя на мысли, что в ее голосе звучала грусть. — На самом деле не можешь. Смотри, я давала тебе шанс».

«Ты уже угрожала мне. Пустые угрозы».

«Э, нет, грозить — не по мне, — отрезала Лэтти. — Я правда хотела дать тебе шанс. — И добавила: — Когда ты искала в этом мире себе подобных, неужто тебе не приходило в голову, почему эти древние твари сюда не набежали? Нет, никогда не приходило. Ты так радовалась, что одна здесь, а поразмыслить-то об этом и недосуг».

Ба обычно зовет таких, как ты, *блохами*, Шартах из Цитадели. То бишь она могла бы назвать вас еще как-нибудь. Но мне кажется, она думает, что *блохи* — это смешно... Вообще, она не против вас. Она говорит, вы вполне безобидные. Только чуточку туповаты. Но беда в том, что в этой части вселенной водятся блохоеды. *Хищники*, так бабушка их зовет. И они ей *совсем* не по нутру. Она говорит, от них трудно избавиться, они злобные. И прожорливые».

«Я не боюсь, — сказала Урсула Монктон. Ее голос дрожал от страха. — А как ты узнала мое имя?» — спросила она.

«Этим утром ходила за ним. И кое-что еще раздобыла. Буйков, пометить границы, чтобы ты слишком далеко не убежала и больше не напортила. И хлебных крошек, что ведут прямо сюда, в эту комнату. А теперь открой склянку, высвободи дверь, и давай-ка отправим тебя домой».

Я ждал, что ответит Урсула Монктон, но она молчала. Ответа не последовало. Только дверь грохнула, и удаляющиеся шаги частой дробью затоптали по лестнице.

Совсем рядом голос Лэтти произнес: «Лучше бы осталась здесь и сразу приняла мое предложение».

Я почувствовал, как ее руки стаскивают тряпки с моего лица. Они отходили легко, с хлюпающим звуком, но больше не казались живыми и, отстав, падали на пол, а там лежали не двигаясь. В этот раз кожа под ними не кровоточила. У меня только затекли ноги и руки. Лэтти помогла мне подняться.

Радости на ее лице я не увидел.

«Куда она пошла?» — спросил я.

«Она пошла по крошкам из дома. И она напугалась. Бедная. Так напугалась».

«Ты тоже напугалась».

«Да, капельку. Стало быть, она вот-вот обнаружит, что заперта в пределах, которые я установила», — ответила Лэтти.

Мы вышли из комнаты. Там, где на последней ступеньке остался солдатик, теперь зияла дыра. Я не могу это описать лучше: словно кто-то сфотографировал лестницу и потом

оторвал от фотографии кусочек с солдатиком. На его месте разверзлась серая, тусклая пустота, и если я смотрел в нее слишком долго, начинали болеть глаза.

«Чего она так напугалась?»

«Ты слышал. Хищников».

«Лэтти, а ты боишься хищников?»

Она задумалась, и думала чуть дольше обычного. А потом просто ответила: «Да».

«Но ее же ты не боишься. Урсулы».

«А зачем мне ее бояться? Верно Ба говорит. Она вся раздулась от гордости, власти и похоти, точно блоха от крови. Да она и не могла навредить мне. Я в свое время кучу таких выпроводила. Одна объявилась во времена Кромвеля, и вот тут есть о чем потолковать. Она изводила народ одиночеством. Чтобы избавиться от тоски, они выковыривали себе глаза или прыгали в колодезь, а все это время жирная тупая скотина сидела себе в винном погребе в трактире „Голова герцога“, она была похожа на пузатую жабу величиной с бульдога». Лестница кончилась, и мы двинулись по коридору.

«Откуда ты знаешь, куда она пошла?»

«Просто ей не свернуть с пути, который я для нее проложила». В гостиной сестра все еще играла «Собачий вальс».

Та-да-ДАМ-пам-памта-да-ДАМ-пам-памта-да-ДАМ-та-ДАМ-та-ДАМ-пам-пам...

Мы вышли через парадную дверь. «Этот, Кромвельский, был противный. Но до прилета голодных птиц мы с ним управились».

«Что за голодные птицы?»

«Ну, те, которых Ба зовет хищниками. Чистильщики».

Это звучало неплохо. Я знал — Урсула их боится, а я не боялся. Зачем бояться чистильщиков?

Мы догнали Урсулу Монктон на лужайке у розовых кустов. У нее в руках была банка из-под варенья с дрейфующим лазом внутри. Она вела себя странно. То судорожно дергала крышку, то переставала дергать и вглядывалась в небо. Потом снова принималась за банку.

Она побежала к моему буку, к тому, что с веревочной лестницей, и изо всей силы швырнула в него банку. Если она хотела банку разбить, то ей это не удалось. Та просто отскочила и, невредимая, приземлилась на мох, прикрывавший корневое сплетение.

Урсула Монктон злобно посмотрела на Лэтти. «Ну зачем?» — спросила она.

«Ты знаешь зачем», — сказала Лэтти.

«Зачем их пускать сюда?» И она заплакала, а мне стало неудобно. Я не знал, что делать, когда взрослые плачут. Я видел такое лишь дважды: бабушка с дедушкой плакали в больнице, когда умерла тетка, и еще мама плакала. Я был уверен, что взрослые не должны плакать. У них же нет матерей, которые утешат и успокоят.

Я все думал, была ли вообще мать у Урсулы Монктон? Ее лицо и колени были в грязи, и она рыдала, тоненько подвивая.

Вдалеке послышался звук, странный, нездешний: тугое гудение, словно кто-то дернул натянутую струну.

«Не я их сюда пускаю, — сказала Лэтти Хэмпсток. — Они летят, куда хотят. Сюда они не залетают, потому что обычно для них здесь нет корма. А теперь есть».

«Отошли меня обратно», — попросила Урсула Монктон. И я подумал, что сейчас она совсем не похожа на человека. Ее лицо стало каким-то неправильным: случайное нагромождение деталей, в котором мне виделись человеческие черты, как шишковатые серые изгибы и бугры на стволе моего бука или узоры на спинке кровати в бабушкином доме — если при лунном свете я смотрел на них сбоку, мне являлось лицо старика, он широко разевал рот, словно вопил что есть мочи.

Лэтти подняла банку с зеленого мха и попробовала крышку. «Ты убежала, и она наглухо закрылась», — объяснила она. Потом направилась к мощеной дорожке, опрокинула банку вверх дном и, удерживая за дно, осторожно стукнула ее крышкой о камни. Затем вернула банку в обычное положение и стала открывать. На сей раз крышка отошла и легла в ее руку.

Она отдала банку Урсуле Монктон, та запустила руку внутрь и выудила прозрачную штуквинку, мою бывшую дырку в ноге. От прикосновения хозяйки она напыжилась и с видимым удовольствием принялась извиваться, покачиваясь из стороны в сторону.

Урсула Монктон бросила ее на землю. Коснувшись травы, она начала расширяться. Только не расти. А *изменяться*: она словно надвинулась на меня. Я мог заглянуть туда и увидеть, что там, в конце тоннеля. Я мог пробежать по нему, если бы он не уходил в померанцевое небо.

Я рассматривал его, и грудь снова сдавило: обожгло льдом, будто я объелся мороженым и обморозил себе внутренности.

Урсула Монктон пошла ко входу в тоннель. (Как эта штука могла быть тоннелем? Я не понимал этого. В траве по-прежнему поблескивал прозрачный серебряно-черный лаз, проточенный червяком, — не больше фута в длину. Я думаю, это как с фотоувеличением, когда перед тобой крупный план чего-то маленького. В то же время это был тоннель, и через него можно было бы протащить дом.)

Вдруг она остановилась и завывала.

Она начала: «Дорога назад. — Замолкла. — Обрывается, — вскрикнула она. — Разрушена. Не хватает последнего пролета». И в замешательстве стала беспокойно озираться по сторонам. Ее взгляд остановился на мне — не на лице, а на груди. Она

ухмыльнулась.

И тут ее *трянуло*. Только что это была взрослая женщина, голая и грязная, — и шелк — точно зонтик телесного цвета она раскрылась.

А раскрывшись, потянулась ко мне, схватила и подняла высоко над землей, и я от ужаса тоже вцепился в нее.

Я цеплялся за плоть. Я болтался на высоте пятнадцати футов или даже выше, вровень с верхушками деревьев.

Нет, я цеплялся не за плоть.

Я цеплялся за старую ткань, гнилую, истлевшую дерюгу, а под ней я нащупал дерево. Не добротное, крепкое дерево, а труху, какую я видел на месте расщепленных деревьев, она всегда была сырой на ощупь, ее можно растереть пальцами, — рыхлые опилки с мелкими жучками, мокрицами, затянутые нитевидной грибницей.

Оно держало меня, раскачиваясь со скрипом.

Ты перекрыла пути, — сказала оно Лэтти Хэмпсток.

«Ничего я не перекрывала, — ответила Лэтти. — У тебя мой друг. Опустите его на землю». Она была где-то далеко подо мной, а я боялся высоты и схватившего меня существа.

Дорога обрывается. Путь закрыт.

«Опустите его вниз. Сейчас же. Осторожно».

Он недостающий пролет. Путь пролегает через него.

И тогда я понял, что умру.

Умирать мне не хотелось. Родители говорили, что по-настоящему я не умру, мое настоящее «я» не умрет: никто по-настоящему не умирает; просто мой котенок и добытчик опалов получили новое тело и скоро вернуться. Я не знал, верить этому или нет. Я знал только, что уже привык быть собой, что люблю свои книжки, дедушку с бабушкой и Лэтти Хэмпсток, а смерть у меня заберет все это.

Я отворю его. Путь закрыт. Пролет остался внутри него.

Я бы лягался, но лягать было нечего. Я корябал удерживающую меня руку, но ногти зарывались в истлевшую ткань и опилки, а под ними было окаменелое дерево, и существо держало меня крепко.

«Пусти меня! — кричал я. — Пус-ти-ме-ня!»

Нет.

«Мама! — кричал я. — Папа! — А потом: — Лэтти, скажи ей, пусть она меня поставит на землю».

Моих родителей там не было. А Лэтти была. Она приказала: «Шартах. Опустите его вниз. Я же пообещала. Отослать тебя обратно будет сложнее — из-за конца тоннеля, который остался внутри его. Но мы можем — если у меня с мамой не выйдет, получится у бабушки. Так что опустите его вниз».

Он у него внутри. Это не тоннель. Теперь. У него нет конца. Перестаралась, когда закрепляла, последний пролет остался внутри. Не важно. Дело за малым — нужно вырвать из его груди горячее сердце, довершить путь и отворить дверь.

Безликое развешивающееся существо говорило без слов, они звучали прямо в моей голове, чем-то напоминая мелодичный, красивый голос Урсулы Монктон. Я знал, оно не шутит.

«Твое время истекло», — сказала Лэтти так, точно говорила о погоде. Она поднесла два пальца к губам и свистнула резко, пронзительно, переливчато.

И они явились, словно только того и ждали.

Они парили в вышине, черные, угольно-черные, такие черные, что казалось, будто их и нет на самом деле, просто на поверхности глаза образовались точки и мешают смотреть. Они были с крыльями, но не птицы. Они были старше птиц, и великое множество, наверное, сотни их вились, кружились, петляли в воздухе, и каждая полуптица, хлопая крыльями, медленно, едва приметно снижалась.

Я вдруг представил себе долину с динозаврами миллионы лет тому назад, они погибли, сражаясь, или умерли от болезни; я представил туши разлагающихся ящеров, величиной больше автобуса, и тогдашних стервятников: черных с серым отливом, голых, крылатых, но без единого перышка; чудища из кошмаров — клювообразная пасть с острыми игольчатыми зубами, сделанная для того, чтобы рвать на части и пожирать, и алчущие красные глаза. Эти создания садились на трупы больших ящеров и съедали все до костей.

И были они огромные, гладкие и древние, и смотреть на них было больно глазам.

«А теперь, — сказала Лэтти Хэмпсток Урсуле Монктон, — поставь его на землю».

Существо, державшее меня, и не думало слушать. Ничего не сказав, оно, точно большой обветшалый парусник, устремилось по траве к тоннелю.

Я видел, как лицо Лэтти Хэмпсток искажилось от ярости, ее кулаки сжались так, что побелели костяшки. Я видел, как над нами голодные птицы кружат и кружат...

Вдруг одна из них камнем упала вниз, мелькнула быстрее мысли. Рядом пронесся порыв воздуха, я увидел черную-черную пасть, усеянную иголками, глаза, пылающие, как два газовых рожка, и услышал треск, будто бы кто-то рвет занавеску.

Крылатое создание взмыло вверх с куском серой ткани в зубах.

У меня в голове и снаружи раздался вой, это был голос Урсулы Монктон.

Они ринулись вниз, словно ждали, кто двинется первым. Они налетели на державшее меня существо, как кошмарный сон, вступивший в схватку с кошмаром, разрывающий его в клочья, и сквозь весь этот шум до меня доносились стоны Урсулы Монктон.

Я просто давала им то, что они хотели, — вопила она с досадой и страхом. — Я делала их счастливыми.

«Ты заставила папу сделать мне больно», — сказал я, пока существо, которое держало меня, отмахивалось от порождений кошмара, разрывающих в клочья ткань. Голодные птицы терзали ее, каждая молча отдирала кусок и, тяжело хлопая крыльями, поднималась вверх, а потом, сделав круг, опять возвращалась.

Я никогда никого не заставляла ничего делать, — ответило оно. Я было подумал — оно надо мной смеется, но тут смех превратился в вопль, такой оглушительный, что у меня заболели голова и уши.

Существо, державшее меня, медленно рухнуло, будто ветер стих, оставив в покое разодранный парус.

Я сильно ударился о землю, ободрав колени и ладони. Лэтти помогла мне встать и отвела в сторону от сваленных в кучу останков, называвших себя когда-то Урсулой Монктон.

Это были куски серой ткани, которые не были тканью: они свивались в кольца, змеились вокруг меня по земле под невидимым ветром — живое червивое месиво.

Крылатые создания кидались на него, как морские чайки на рыбу, выброшенную на берег, они рвали его, словно не ели тысячу лет и теперь нужно было набить желудок, потому что ждать следующей кормежки придется столько же, а то и дольше. Они рвали серую дерюгу своими зубастыми пастями, пожирали гнилую холщовую плоть, а у меня в голове раздавились отчаянные крики.

Лэтти держала меня за руку. Она молчала.

Мы ждали.

Когда крики стихли, я знал, что Урсула Монктон сгинула навсегда.

Расправившись с лохмотьями в траве, не оставив ничего, даже серого клочочка, они повернулись к прозрачному тоннелю, который бился в конвульсиях, раскачивался и извивался как живой. Несколько птиц зажали его в когтях и взлетели, поднимая тоннель в небо, а остальные набросились на него, жадно отхватывая куски своими пастями.

Я думал, закончив, они уберутся прочь, вернуться сам не знаю куда, но не тут-то было. Они спускались обратно. Когда они приземлились, я попытался пересчитать их, и мне это не удалось. Раньше я думал, что их были тысячи и тысячи, но, может быть, я ошибался. Может, их было двадцать. А может, и тысяча. Объяснить этого я не мог; наверное, они явились оттуда, где такие вещи, как арифметика, не работают, из мира за пределами времени и чисел.

Они приземлились, я вглядывался в них, но видел лишь тени.

Столько теней.

И они пристально смотрели на нас.

Лэтти заговорила: «Вы сделали то, зачем явились сюда. Вы свое получили. Почистили. Теперь ступайте домой».

Тени не шелохнулись.

Она сказала: «Ступайте!»

Тени на траве где были, там и остались. Только теперь они казались темнее и плотнее, чем прежде.

— *Ты не властна над нами.*

«Может быть, — ответила Лэтти. — Но я призвала вас сюда, и сейчас я велю вам вернуться. Вы поглотили Шартах из Цитадели. Вы сделали свое дело. А теперь убирайтесь».

— *Мы чистильщики. Мы приходим чистить.*

«Да, и вы вычистили то, ради чего пришли. Возвращайтесь домой».

— *Не всё, —* вздохнул ветер в кустах рододендрона, и прошелестела трава.

Лэтти повернулась и обхватила меня рукой. «Давай, — сказала она. — Быстро».

И мы быстро пошли через лужайку. «Я веду тебя к кольцу фей, — сказала она. — Тебе придется ждать там, пока я не вернусь. Не выходи из него. Ни в коем случае».

«А почему?»

«Вдруг с тобой случится что-то неладное. Не думаю, что смогу довести тебя до нашего дома в целостности и сохранности, и я не могу это исправить сама. В кольце тебе ничего не грозит. Что бы ты ни увидел, что бы ни услышал, не выходи из него. Просто оставайся внутри, и с тобой все будет в порядке».

«Кольцо фей — это же понарошку, — возразил я. — Мы просто так играем. Это же круг с зеленой травой, и все».

«Ну, что есть, то есть, — сказала она. — Если что-то захочет навредить тебе, оно не сможет перейти границу. А ты оставайся внутри». Она сжала мою руку и завела меня в зеленый круг. Потом нырнула в кусты рододендрона и исчезла.

По краям круга сгушались тени. Бесформенные пятна, собравшиеся здесь, не были галлюцинацией, я их видел, стоило резко повернуть голову. И тогда они принимали очертания птиц. И казались очень голодными.

Мне никогда еще не было так страшно, как в тот день, после обеда, в этом кругу травы с мертвым деревом посередине. Птицы не пели, насекомые не гудели и не жужжали. Все замерло. Я слышал шелест листьев и шепот травы на ветру, но Лэтти Хэмпсток все не было, и в легком шуме ветра не слышалось голосов. Только тени меня пугали, но и их, если смотреть в упор, не очень хорошо было видно.

Солнце клонилось к закату, тени в неясных сумерках сделались еще незаметнее, и я уже не был уверен, есть ли там вообще что-то. Но из круга не выходил.

«Привет! Парень!»

Я обернулся. Он шагал по лужайке ко мне. Он был одет как в последний раз, когда я его видел: смокинг, белая рубашка с жабо, черный галстук-бабочка. Его лицо все еще было тревожного, вишневого цвета, словно от долгого лежания на пляже, но руки были белые. Он выглядел не как живой человек, а как восковая фигура, какие скорее увидишь в комнате страха. Он ослабил, поймав на себе мой взгляд, и стал похожим на ухмыляющуюся восковую фигуру, я сглотнул, жалея, что солнце уже зашло.

«Ну давай, парень, — продолжал добытчик опалов. — Ты лишь оттягиваешь неизбежное».

Я молчал. Я следил. Его блестящие черные туфли подошли к кругу, но не переступили границу.

Мое сердце бешено колотилось в груди, и я был уверен, что он это слышит. Волосы на шее и на голове у меня зашевелились.

«Парень, — сказал он с сильным южноафриканским акцентом. — Им надо закончить. Это их дело: они могильщики, блюстители пустоты. Такая работа. Зачистить остатки мусора. И полный порядок. Они тебя выскоблят отсюда, и тебя как не бывало. Согласись только. Больно не будет».

Я глядел на него. Когда взрослые так говорили, не важно о чем, потом было очень больно.

Мертвец в смокинге стал медленно поворачивать голову, пока она не оказалась ко мне лицом. Его глаза закатились, и было такое ощущение, что он, как лунатик, слепо таратится в небо над нами.

«А твоя маленькая подружка не в силах тебя спасти, — проговорил он. — Уже много дней судьба твоя предрешена, с тех пор как их жертва пришла сюда через тебя и пробуравила ход в твоём сердце».

«Не я заварил эту кашу! — возразил я мертвецу. — Это нечестно. С *тебя* все началось».

«Да, — согласился мертвец. — Ну что, ты идешь?»

Я сел, прислонившись спиной к дереву в центре кольца фей, закрыл глаза и не шевелился. Чтобы отвлечься, я принялся вспоминать стихи и читать их про себя, шевеля губами, но не издавая ни звука.

Цап-царап сказал мышке: Вот какие делишки, мы пойдем с тобой в суд, я тебя засужу...

Я выучил наизусть это стихотворение в школе. Его рассказывала мышь в «Алисе в Стране чудес», та самая мышь, которую Алиса повстречала в море из своих собственных слез. В моей «Алисе» слова скакали по строчкам туда и обратно, выписывая кренделя, и столбик стихотворения превращался в мышинный хвост.

Я мог рассказать его целиком на одном дыхании, без передышки, до самого неотвратимого конца.

«Я — и суд, я — и следствие, —Цап-царап ей отвечает. —Присужу тебя к смерти я, тут тебе и капут».

Когда я открыл глаза, добытчика опалов уже не было.

Небо затягивалось серым, мир в сумерках становился плоским и терял резкость. Если тени и были все еще там, я их уже различить не мог; точнее, вокруг стеной стояли одни только тени.

Из дома, выкрикивая мое имя, выскочила сестра. Не дойдя до меня, она остановилась и спросила: «Что ты там делаешь?»

«Ничего».

«Папа звонит. Он зовет тебя к телефону».

«Нет. Не зовет».

«Что?»

«Он не зовет меня к телефону».

«Если ты сейчас же не пойдешь, тебе не поздоровится».

Я не знал, моя это сестра или нет, но я был в кругу, а она за его границей.

Я жалел, что не взял с собой книгу, пусть уже почти стемнело и читать было бы трудно. Я мысленно вернулся к «слезному» стихотворению мыши.

И не смей отпираться, мы должны расквитаться, потому что все утроя без дела сижу...

«А где Урсула? — спросила сестра. — Она поднялась к себе в комнату, но там ее нет. И на кухне нет, и в туалете. Я хочу чая. Я есть хочу».

«Можешь сама себе что-нибудь приготовить, — ответил я ей. — Ты уже не ребенок».

«Где Урсула?»

Ее разодрали на клочки стервятники, монстры-пришельцы, и, если уж честно, я думаю, что ты одна из них, или они тобой управляют.

«Не знаю».

«Когда мама с папой вернутся, я им скажу, что ты весь день плохо со мной обращался. Они тебе покажут». Я все пытался понять, моя это сестра или нет. Судя по словам, точно была она. Но в кольцо, в круг, где трава была зеленее, она не ступила ни шагу. Показав мне язык, она помчалась обратно к дому.

И на это нахалумышка так отвечала: «Без суда и без следствия, сударь, дел не ведут...»

Плотной тусклой массой навалился сумрак, весь выцветший и тревожный. Вокруг разносилось зудение комаров, один за другим они садились на мои щеки и руки. Я был рад, что на мне необычная, старомодная одежда кузена Лэтти Хэмпсток — с ней открытых мест на теле осталось меньше. Когда комары садились, я тут же отгонял их шлепками, и они разлетались. Один не улетел, присосавшись к запястью с внутренней стороны, он лопнул от моего удара, и кровавая слеза скатилась по руке.

Надо мной кружились летучие мыши. Обычно они мне нравились, но в эту ночь их было очень уж много, они напоминали мне голодных птиц и заставляли дрожать от страха.

Незаметно сумерки перешли в ночь, а я все сидел в дальнем конце сада и уже не мог различить границ круга. В доме зажегся свет, дружелюбный электрический свет.

Темнота меня уже не пугала. И обычные вещи тоже. Просто я не хотел больше сидеть там и ждать в темноте подругу, которая исчезла, и не понятно, когда вернется.

...Цап-царап ей отвечает. —Присужу тебя к смерти я, тут тебе и капут.

Но я сидел и ждал. Я видел, как Урсулу Монктон разорвали на клочки и сожрали могильщики, явившиеся из мира, недоступного моему пониманию. Я был уверен — выйди я из круга, и со мной произойдет то же самое.

Я перешел от Льюиса Кэрролла к Гилберту и Салливану.

И лежишь ты без сна, в голове пелена, сердце полнится тяжелой тоскою, ты давай без прикрас, заведи свой рассказ, коли ночью тебе нет покою...

Я любил, как эти слова звучат, даже если и не совсем понимал, что они означают.

Захотелось пописать. Я повернулся спиной к дому и чуть-чуть отошел от дерева, боясь сделать лишний шаг и оказаться за кругом. Я помочился в темноту. И только закончил, как меня ослепил свет фонаря, и голос отца спросил: «Какого черта ты здесь делаешь?»

«Я... я просто сижу тут», — ответил я.

«Да. Твоя сестра мне сказала. Ладно, пойдем домой. Ужин на столе».

Я не двинулся с места. «Нет», — сказал я и замотал головой.

«Ну, не глупи».

«Я и не глуплю. Я остаюсь здесь».

«Ну, давай. — И, подбадривая, добавил: — Пойдем, Красавчик Джордж». Он так звал меня, когда я был совсем ребенком. У него даже имелась песенка с этим именем — он напевал ее, качая меня на коленях. Это была лучшая песня в мире.

Я молчал.

«Я тебя домой не понесу, — сказал отец. В голосе его послышался металл. Ты уже большой».

Да уж, подумал я. А еще, чтобы схватить меня, тебе придется пройти через кольцо фей.

Правда, кольцо фей казалось теперь глупостью. Это был мой отец, а не какая-то восковая фигура, сделанная голодными птицами, чтобы меня выманить. Он вернулся с работы. Как раз подошло время.

Я сказал: «Урсула Монктон ушла. Навсегда».

«Что ты ей сделал? — спросил он сердито. — Гадость какую-нибудь? Нагрубил?»

«Нет».

Он посветил фонарем мне в лицо. Из-за света я почти не видел его лица. Но было ясно, что он с трудом сдерживает себя. Он спросил: «Чего ты наговорил ей?»

«Ничего я ей не говорил. Она просто ушла».

Это была правда, ну или почти правда.

«Возвращайся в дом, сейчас же».

«Ну пожалуйста, папочка, мне нужно остаться здесь».

«Сию же минуту иди в дом!» — заорал отец во весь голос, и я не совладал с собой: нижняя губа задрожала, из носа потекло, к горлу подступили слезы. Они застилали глаза, жгли и не капали, и я смаргивал их.

Я не знал, со своим ли отцом говорю.

Я сказал: «Мне не нравится, когда ты кричишь на меня».

«А мне не нравится, когда ты ведешь себя, как звереныш!» — заорал он, и я заплакал, и слезы ручьем побежали по моему лицу, мне захотелось оказаться где-нибудь подальше

отсюда.

За последние несколько часов я видел вещи и похуже. Я вдруг понял, что мне наплевать. Я поднял глаза на темную фигуру, держащую фонарь, и сказал: «Ты чувствуешь себя большим и сильным, когда доводишь ребенка до слез?», и тут же горько пожалел об этом.

Я отраженном свете фонаря мне было видно, как его лицо осунулось, искривилось. Собираясь что-то сказать, он открыл рот и снова его закрыл. Я не мог вспомнить, чтобы отец вообще терял дар речи, ни до этого, ни после. Только тогда. Я похолодел. И подумал, *я скоро умру здесь. Неужели это мое прощальное слово?*

Но свет фонаря уже удалялся. Отец бросил только: «Мы будем в доме. Твой ужин я поставлю в духовку».

Я следил за огоньком: вот он движется по лужайке, мимо розовых кустов, к дому и гаснет, полностью скрываясь из виду. Стукнула боковая дверь.

А когда ты уснешь, как глоток отхлебнешь, голове и глазам отдых давши, дрема встретит кошмар, раздувая пожар, и не спать лучше было б, страдавши...

Кто-то засмеялся. Я перестал петь и оглянулся — вокруг никого.

«Песнь о ночном кошмаре, — раздался голос. — Как кстати».

Она подошла ближе, и я смог разглядеть лицо. Она все еще была неодета и улыбалась. Я видел, как несколько часов назад ее разорвали на куски, но сейчас она была целой и невредимой. Хотя все остальные, кого я видел этим вечером, выглядели убедительнее; за ней виднелись огни дома, они просвечивали сквозь нее. А улыбка ее осталась прежней.

«Ты умерла», — сказал я ей.

«Да. Меня съели», — ответила Урсула Монктон.

«Ты умерла. Ты ненастоящая».

«Меня съели, — повторила она. — Я ничто. Они выпустили меня ненадолго из своей утробы. Там холодно и очень пусто. Но они мне обещали тебя, и мне будет с кем поиграть, посидеть в темноте. Тебя съедят, и ты тоже будешь ничто. Но все, что останется от этого ничто, будет моим, моей игрушкой, моей забавой до окончания времени. Вот мы *поразвлечемся*».

Прозрачная рука поднялась, дотронулась до улыбающихся губ и послала мне призрачный поцелуй Урсулы Монктон.

«Я буду ждать тебя», — сказала она.

Хруст в кустах рододендрона позади меня и голос, веселый, женский, молоденький: «Все в порядке. Ба все исправила. Все уладили. Выходи».

Над кустом азалии показалась луна — яркий полумесяц, нестриженная полоска на длинном ногте.

Я сидел у мертвого дерева и не двигался.

«Ну давай, глупенький. Говорю же я. Они улетели», — продолжала Лэтти Хэмпсток.

«Если ты и вправду Лэтти Хэмпсток, — сказал я ей, — зайди сюда».

Девочка-тень осталась там, где стояла. Потом разразилась хохотом, вытянулась, мелькнула и растворилась, став обычной ночной тенью.

«Ты хочешь есть», — послышался голос из темноты, и это был уже не голос Лэтти Хэмпсток. Может быть, он звучал в моей голове, но говорил он громко. «Ты устал. Семья тебя ненавидит. Друзей нет. И, как это ни прискорбно, Лэтти Хэмпсток никогда не вернется».

Мне очень хотелось увидеть, кто говорит. Когда знаешь, чего бояться, оно как-то легче.

«До тебя никому нет дела, — безучастно, по-деловому рассуждал голос. — Давай выходи к нам из круга. Сделай один только шаг. Шагни за черту, и мы навсегда избавим тебя от боли — от той, что не дает покоя сейчас, и от той, что еще предстоит испытать. Больше не будет больно».

Теперь голос был не один. В унисон говорили двое. Или сотня. Я не мог различить. Множество голосов.

«Неужели ты думаешь, что в этом мире будешь счастлив? В твоём сердце дыра. Через тебя проходит путь в земли, лежащие за пределами мира, тебе известного. Ты станешь мужать, и они позовут. Ни на секунду ты не забудешь о них, не перестанешь искать в своём сердце то, чем обладать не сможешь, то, что даже не сможешь отчетливо представить себе; и не будет в твоей жизни ни сна, ни покоя, ни радости до тех самых пор, пока в последний раз не сомкнутся глаза, пока любимые домочадцы не дадут тебе яду и не продадут твоё тело на нужды *анатомии*, но и тогда ты будешь умирать с дырой внутри, будешь стенать и клясть бездарно прожитую жизнь. Тебе не обязательно взрослеть. Выйди, и мы закончим начатое, сработаем чисто, иначе так и умрешь там от голода и страха. А когда ты умрешь, круг будет нам не преграда, мы вырвем твоё сердце, а душу возьмем на память».

«Может, так все и будет, — сказал я, — а может, и нет. А если и да, то, может, так и суждено было быть. Мне наплевать. Я все равно буду сидеть здесь и ждать Лэтти Хэмпсток, и вот увидите, она вернется ко мне. И если я умру тут, то умру, ожидая ее, пусть лучше уж так умру, чем вы со всеми вашими чудовищами разорвете меня на кусочки, потому что мне внутрь засунули что-то, что иметь мне вовсе не *хочется*».

Наступила тишина. Тени вроде бы снова растворились в ночи. Я обдумывал свои слова, зная, что сказал правду. В ту минуту единственный раз в детстве темнота меня не пугала, и я точно готовился умереть (как готовится умереть любой семилетний ребенок, уверенный в собственном бессмертии), если придется встретить смерть, ожидая Лэтти. Потому что она была моим другом.

Время шло. Я ждал, что тьма снова заговорит со мной, что придут люди, что все призраки и чудовища, населяющие мое воображение, соберутся вдоль круга и станут меня выманывать, но все было тихо. Пока было тихо. И я просто ждал.

Луна поднялась выше. Мои глаза привыкли к темноте. Я пел про себя, беззвучно шевеля губами.

Ты обычный дряхлец — весь согнулся вконец. Эко чудо — храпишь, на полу же ты спишь, Иглы колют в ногах, не ходи в башмаках. Тело сводит опять, левый бок бы размять. Ноги в пальцах болят. На носу мухи спят. У тебя в легких пух. И язык твой набух. Жаждой глотка горит. В общем, все говорит: «Ну а спишь, ты, милоч, неважно».

Я про себя пропел песню целиком два или три раза, с облегчением отмечая, что помню слова, пусть даже и не всегда их понимаю.

Когда пришла Лэтти, настоящая Лэтти, в руках у нее было ведро с водой. Тяжелое, судя по тому, как она его тащила. Перешагнув невидимую границу кольца в траве, она направилась прямо ко мне.

«Извини, — сказала она. — Понадобилось гораздо больше времени, чем я думала. Он никак не соглашался, и в конце концов пришлось позвать бабушку, самое сложное она взяла на себя. Он не стал спорить с ней, но и помогать тоже не стал, а это совсем непросто...»

«О чем ты? — прервал я ее. — О чем ты болтаешь?»

Аккуратно, чтобы не расплескать, она поставила ведро на землю рядом со мной.
«Океан, — сказала она. — Он никак не хотел поддаваться. Так сопротивлялся, что Ба сказала, ей потом придется пойти прилечь. Но мы все-таки загнали его в это ведро с водой».

От воды в ведре исходило какое-то зеленовато-синее свечение. Я видел в ней лицо Лэтти. Зыбь, волны, видел, как они набегают и плещутся о ведерный край.

«Я не понимаю».

«Я не могла отвести тебя к океану, — пояснила она. — Но ничто не мешало мне принести океан к тебе».

«Я хочу есть, Лэтти. И мне это не нравится», — сказал я.

«Мама уже сготовила ужин. Но придется еще чуть-чуть потерпеть. Тебе небось одному здесь было страшно?»

«Да».

«Они пытались вытащить тебя из круга?»

«Да».

Она взяла мои руки в свои и сжала. «Но ты оставался, где тебе следовало, и не слушал их. Вот молодчина. Вот это я понимаю». — В ее голосе слышалась гордость. И я позабыл свой голод и страх.

«А что мне теперь делать?» — спросил я ее.

«А теперь, — ответила она, — ступай в ведро. Ни обувку, ничего другого снимать не надо. Просто забирайся».

Мне это даже не показалось странным. Она отпустила одну мою руку, но вторую продолжала сжимать. Я подумал, *ни за что не отпущу твою руку, если только сама не скажешь*. Я сунул ногу в мерцающую воду, и она поднялась почти до краев. Нога коснулась жестяного дна. Вода холодила, но не обжигала холодом. Сунув в ведро вторую ногу, я пошел вниз, как мраморная статуя, и океан Лэтти Хэмпсток сомкнулся над моей головой.

У меня было такое чувство, как бывает, когда ступишь назад, не глядя, и упадешь в бассейн. Под водой я закрыл глаза, чтобы не щипало, — зажмурил сильно-сильно.

Плавать я не умел. Я не понимал, где я и что происходит, но даже тогда я чувствовал, что Лэтти по-прежнему сжимает мою руку.

Я не дышал.

А когда уже было невозможно, судорожно глотнул, ожидая, что сейчас задохнусь, закашляюсь и умру.

Я не задохнулся. Я ощутил, как водяной холод — если это была вода — проникает в нос, в горло, заполняет легкие, но со мной ничего не происходит. Он не вредит мне.

Я подумал, *это вода, которой можно дышать*. Подумал, *может быть, есть такой секрет, как дышать водой — это просто, и все это могут, если знать как*. Вот, что я подумал.

Это было первое, что я подумал.

Потом я подумал, что знаю все на свете. Океан Лэтти Хэмпсток протекал через меня, заполняя собой всю вселенную — от Яйца до Розы. Я знал это. Знал, что представляет собой Яйцо — где зачинался мир под пение предвечных голосов в пустоте, — знал, как цветет Роза — пространство странным образом искривляется и идет гигантскими складками, они сворачиваются, как оригами, превращаясь в причудливые орхидеи, которые зацветут в знак последнего благоденствия перед самым концом всего сущего, перед следующим Большим Взрывом, и он, теперь я это тоже знал, будет совсем не взрывом.

Я знал, что старая миссис Хэмпсток будет там, как и в прошлый раз.

Я увидел мир, в котором жил от рождения, и понял, какой он хрупкий; знакомая мне реальность была лишь тонким слоем застывшей глазури на темном праздничном торте, который кишит червями, пропитан кошмарами и начинен алчностью. Я увидел этот мир сверху и снизу. За пределами нашей реальности, точно пчелиные соты, множились другие миры, открывались другие врата и пути. Я увидел все это и постиг, и оно заполнило меня, как воды океана.

Все во мне зашептало. Заговорило — все и со всем, и мне все это было известно.

Я открыл глаза, желая узнать, что мне явится снаружи, и будет ли оно похоже на то, что внутри.

Я находился глубоко под водой.

Я глянул вниз, там синяя даль скрывалась во тьме. Взглянул вверх, там было то же самое. Ничто не тянуло меня в глубину и не выталкивало на поверхность.

Я слегка повернул голову, чтобы взглянуть на нее — она, так и не отпустив, держала меня за руку — и увидел Лэтти Хэмпсток.

Мне кажется, я не сразу понял, что открылось моим глазам. Это было ни на что не похоже. Если Урсула Монктон была сделана из серой ветоши, которая развевалась, трещала и рвалась на шквальном ветру, то вместо Лэтти Хэмпсток я видел сейчас струящийся шелк цвета льда, наполненный мерцанием крохотных огоньков от свечей, сотен и сотен свечей.

Могла ли свеча гореть под водой? Там могла. Когда я был в океане, я знал это и даже знал как. Я постиг это точно так же, как постиг Темное начало, материю, создающую то, что должно быть во вселенной, но чего мы не можем найти. Перед моим внутренним взором возник океан, омывающий всю вселенную, словно темная морская вода под деревянными мостками у старого причала: океан, который простирается от вечности к вечности и все же столь маленький, что может уместиться в ведре, если старая миссис Хэмпсток поможет и если хорошо попросить.

Лэтти Хэмпсток превратилась в туманный шелк и пламя свечей. Интересно, а как тогда выглядел я, но я знал — даже здесь, в пространстве, целиком состоящем из знания, это единственное, что мне знать не дано. И если я загляну внутрь себя, то увижу лишь бесконечную круговерть пристально изучающих меня зеркал.

Шелк, пронизанный огоньками свечи, качнулся медленно, плавно, как и бывает под водой. Течение подхватило его, и показались руки, одна из них по-прежнему сжимала мою, тело, знакомое веснушчатое лицо, рот, который открылся и сказал голосом Лэтти Хэмпсток: «Мне очень жаль».

«Почему?»

Она не ответила. Воды океана путали мои волосы и трепали одежду, как летние ветры. Мне больше не было холодно, я знал все на свете и не испытывал голода, а весь огромный, сложный мир стал вдруг простым и обозримым, готовым раскрыться. Мне

хотелось остаться здесь до скончания времени, в этом океане, который и есть вселенная, душа, самая суть. Мне хотелось остаться здесь навсегда.

«Нельзя, — сказала Лэтти. — Он разрушит тебя».

Я открыл рот объяснить ей, что сейчас меня нельзя убить, но она сказала: «Не убить. Разрушить. Растворить. Здесь ты не умрешь, здесь ничто не умирает, но если пробыть здесь слишком долго, ты распадешься на мельчайшие крупички, и они разлетятся повсюду. А это нехорошо. Тебя уже будет не собрать, и не станет того, что понимает себя как отдельное, цельное „я“. Не станет твоей точки зрения — ты будешь бесконечной чередой точек, твоему зрению недоступных...»

Я хотел возразить. Она ошибалась, наверняка ошибалась; мне очень нравилось это место, состояние, ощущение, и я думал остаться здесь навсегда.

Но тут моя голова вынырнула на поверхность, я заморгал и закашлялся, я стоял по бедра в воде, в пруду, на задворках фермы у Хэмпстоков, и Лэтти Хэмпсток стояла рядом, держа меня за руку.

Я снова закашлялся, и мне показалось, что вода попала и в нос, и в рот, и в легкие. Я жадно втянул в себя чистый воздух; большой, нерезанный круг урожайной луны висел в небе и лил свой свет на красную черепичную крышу Хэмпстоков — в то последнее мгновение я еще знал все на свете: помню, я знал, как сделать так, чтобы луна была полной, когда тебе нужно, чтобы светила на дом только сзади и каждую ночь.

Я знал все на свете, но Лэтти Хэмпсток настойчиво тащила меня из пруда.

Я по-прежнему был в странной, старомодной одежде, которую дали мне утром, но выбравшись из пруда на траву, росшую на берегу, я обнаружил, что и вещи, и моя кожа были совершенно сухими. Океан снова вернулся в пруд, а я, словно пробудившись от сна в летний день, помнил только, что совсем недавно знал все-все.

Я взглянул на Лэтти в свете луны. «Вот, значит, как оно у тебя?» — спросил я.

«Что как оно у меня?»

«Ты не забываешь, и все время все знаешь?»

Она покачала головой. На ее лице не было улыбки. Она сказала: «Скучно это, все знать. Ты вынужден отказаться и забыть, если хочешь копаться в здешнем навозе».

«То есть *когда-то* ты все знала?»

Она наморщила нос. «Все знали. Я же тебе говорила. Знать, как устроен мир, тоже мне невидаль. Ты и вправду вынужден отказаться, если уж вздумал играть».

«Во что?»

«В это», — сказала она. И обвела рукой дом, небо, невероятную луну, звездные вихри, спирали, скопления ярких галактик.

Хотел бы я знать, что она имеет в виду. Было такое чувство, будто она говорит о сне, который мы видели вместе. На секунду он стал таким осязаемым, что я почти мог дотронуться до него.

«Наверно, ты сильно проголодался», — сказала Лэтти, и наваждение прошло, верно, я очень хотел есть, и голод, завладев разумом, проглотил мои древние сны.

В доме в огромной кухне на столе на своем обычном месте меня ждала тарелка. А на ней — кусок пастушьего пирога: запеченное до коричневой корочки картофельное пюре с мясным фаршем и овощами в подливке. Я опасался есть в гостях, боялся, что если мне не понравится и не захочется доедать, то будут выговаривать или заставят сидеть за столом и есть, отковыривая помаленьку, все до последней крошки, как в школе, но у Хэмпстоков еда всегда была отличная. Опасений она не вызывала.

Джинни Хэмпсток, дородная, радушная, хлопотала по хозяйству в своем переднике. Я ел

молча, уткнувшись в тарелку и запихивая в рот долгожданную пищу. Женщина и девочка тихо говорили, в их голосах слышалась озабоченность.

«Они не заставят себя долго ждать, — заметила Лэтти. — Их не проведешь. И не уйдут, пока не съедят без остатка то, ради чего явились».

Ее мать хмыкнула. Щеки у нее разругались от кухонного жара. «Чушь собачья, — возразила она. — У них и мозгов-то нет, одна сплошная глотка».

Раньше я не слышал этого выражения и подумал, что она говорит, будто у тех созданий кроме горла и рта больше ничего нет. С трудом верилось, что у теней в самом деле были только горло и рот. Я видел, как они сожрали серое существо, называвшее себя Урсулой Монктон.

Мама моей мамы стала бы сейчас меня ругать за то, что я ем, как дикое животное. «Надо *эсн*, есть, — сказала бы она. — Как человек, а не как *хазэр*, свинья. Когда животные едят, они *фрэс*. А люди *эсн*. Ешь по-человечьи». *Фрэсн* — так голодные птицы налетели на Урсулу Монктон, и, несомненно, за меня бы взялись точно так же.

«Я их столько никогда раньше не видела, — сказала Лэтти. — В стародавние времена, когда они сюда залетали, их было раз-два и обчелся».

Джинни налила мне стакан воды. «Сама виновата, — сказала она Лэтти. — Ты же просигналила и позвала их. В колокольчик позвонила и откушать пригласила. Вот они и явились всем скопом».

«Я просто хотела удостовериться, что она точно сгинет», — оправдывалась Лэтти.

«Блохи, — сказала Джинни, тряхнув головой, — они точно куры, выберутся из курятника, гордые все, напыжатся, изготовившись выклевать всех червей, жуков и гусениц, каких захочется, и не думают о лисах». Стоя у плиты, она раздраженно, размашисто взбивала заварной крем длинной деревянной ложкой. «В любом случае теперь у нас тут лисы. И мы их отправим обратно, как и в прошлый раз, когда они ошивались по округе. Мы ведь и прежде это делали?»

«Не то чтобы, — возразила Лэтти. — Мы или отсылали блоху домой и стервятникам здесь делать было нечего, как эту, из погреба, при Кромвеле, или же они прилетали, забирали то, за чем явились, и отправлялись восвояси. Как жирную блоху, из-за которой сбывались людские сны, во времена Рыжего Руфуса. Они забрали ее, снялись с места и улетели. Прежде нам еще не приходилось избавляться от них».

Ее мать пожала плечами. «Это без разницы. Мы просто отправим их обратно, откуда они и явились».

«А откуда они явились?» — спросила Лэтти.

Я сбавил скорость, никак не желая расставаться с пастушьим пирогом, и медленно возил последние кусочки вилок по тарелке.

«Не важно, — сказала Джинни. — Все равно уберутся. Может, просто надоест ждать».

«Я пыталась угнать их, — деловито пояснила Лэтти. — А им хоть бы хны. Я выставила защитный покров, но вряд ли бы его хватило надолго. Здесь мы в безопасности, понятно, никто не явится на эту ферму без нашего дозволения».

«И ничего *отсюда* не исчезнет», — добавила Джинни. Она убрала мою пустую тарелку, заменив ее чашкой, где дымился пятнистый кусок ягодного пудинга весь в желтых каплях густого заварного крема.

Я с радостью съел и его.

Я не скучаю по детству, но мне не хватает своего тогдашнего умения наслаждаться малым, даже когда рушится то, что внушительнее по значению и больше. Я не мог управлять миром, в котором жил, не мог отрешиться от вещей, людей и событий, причиняющих боль, но я черпал радость в том, что приносило мне счастье. Заварной крем на вкус был сладким и сливочным, темные, напитанные влагой смородины в

плотном пятнистом пудинге были терпкими и взрывались кислоткой в нежной губчатой мякоти, возможно, мне предстояло умереть этой ночью, возможно, мне уже не суждено было попасть домой, но ужин был хороший, и я верил в Лэтти Хэмпсток.

Наружный мир все еще ждал. Домашняя дымчатая кошка Хэмпстоков — не думаю, что я вообще знал, как ее звать — мягко прошла через кухню. Это напомнило мне о...

«Миссис Хэмпсток? А котенок дома? Черный с белым ухом?»

«Сегодня вечером нет, — сказала Джинни Хэмпсток. — Она ушла, бродит где-то. Все послеобедье проспала на стуле в коридоре».

Мне было жалко, что нельзя погладить ее мягкую шерстку. Я поймал себя на мысли, что хочу попрощаться.

«Мм. Я думаю. Если мне *все-таки*. Придется умереть. Сегодня», — начал я, запинаясь, совсем не зная, что собираюсь сказать. Наверное, я собирался попросить — позволить мне попрощаться с мамой и папой или сказать сестре, какая это несправедливость, что с ней никогда ничего плохого не происходит, что она живет припеваючи, в безопасности, под опекой, а я вечно попадаю в беду. Но все казалось неподходящим, и я вздохнул с облегчением, когда Джинни Хэмпсток перебила меня.

«Сегодня точно никто не умрет», — твердо заявила она. Потом забрала мою пустую чашку, вымыла ее в раковине и вытерла руки о передник. Она сняла его, вышла в коридор и через несколько секунд вернулась, на ней было простое коричневое пальто и широкие темно-зеленые резиновые сапоги.

Мне показалось, что Лэтти не так уверена, как Джинни. Но Лэтти, несмотря на возраст и мудрость, была девочкой, а Джинни была взрослой, и ее уверенность обнадежила меня. Я верил в них обеих.

«А где старая миссис Хэмпсток?» — поинтересовался я.

«Она прилегла, — ответила Джинни. — Годы берут свое».

«А сколько ей?» — спросил я, не надеясь на ответ. Джинни только улыбнулась, а Лэтти пожала плечами.

Я взял Лэтти за руку, когда мы вышли из дома, пообещав себе, что в этот раз не отпущу ее.

Когда я заходил в дом с черного хода, луна была полной, и стояла настоящая летняя ночь. Когда я уходил, мы с Лэтти Хэмпсток и ее матерью вышли из парадной двери, и луна высоко в облаках изогнулась белозубой улыбкой, а ночь наполнилась легкими порывами нерешительных весенних ветров; они налетали то с одной стороны, то с другой, каждый раз принося дождевую пыль, которой все никак не удавалось пролиться дождем.

Мы пересекли смердящий навозом двор и двинулись вверх по проселку. Прошли поворот. Несмотря на темноту, я точно знал, где мы. Здесь все и началось. На этом самом углу добытчик опалов припарковал наш белый «мини» и, покраснев, словно гранатовый сок, в одиночестве умер, так и не смирившись с потерей денег, здесь начинались владения Хэмпстоков, здесь граница между жизнью и смертью была зыбкой.

Я сказал: «Думаю, надо бы разбудить старую миссис Хэмпсток».

«Так не пойдет, — пояснила Лэтти. — Если уж она устанет, то спит, пока сама не проснется. Через несколько минут или сотню лет. Разбудить ее нельзя. Можно с таким же успехом попытаться разбудить атомную бомбу».

Джинни Хэмпсток остановилась, вышла на середину проселка и встала там спиной к дому.

«А ну! — крикнула она во тьму. — Покажитесь».

Тишина. Влажный ветер налетел и утих.

«Может, они уже улетели...» — предположила Лэтти.

«Было бы замечательно, — проговорила Джинни. — А то время еще тратить на всю эту пустопорожнюю чушь».

Я чувствовал себя виноватым. Я знал, что это моя вина. Если бы я не отпустил руку Лэтти, ничего бы этого не случилось. И за Урсулу Монктон, и за голодных птиц ответственность, конечно, лежала на мне. Даже за то, что произошло — или, может, уже и не произошло — в холодной ванне вчера.

У меня возникла идея.

«А выкроить вы ее не можете? Ну, эту штуку из моего сердца, которая им нужна? Ее бы вырезать оттуда, как ваша бабушка вчера вырезала, а?»

В темноте Лэтти сжала мою руку.

«Может быть, Ба и смогла бы, если бы не спала, — сказала она. — Я не могу. И мама, думаю, тоже. Невероятно трудно выкраивать что-то из времени: нужно убедиться, что края все ровные, даже у Ба не всегда выходит. А тут и того сложнее. Резать по живому. Думаю, даже Ба не смогла бы вынуть ее, не повредив твоего сердца. А сердце тебе еще пригодится. — Потом она сказала: — Вот и они».

Но я и так знал, что что-то происходит, знал еще до того, как она сказала. От земли снова шло золотое свечение; я смотрел, как деревья и трава, живая изгородь, заросли ивы и последние, запоздалые нарциссы наливаются мягким сиянием. Я огляделся по сторонам — мне было и страшно, и любопытно — и заметил, что свет ярче всего за домом, и эта яркая полоса тянется оттуда на запад к пруду.

Я услышал тяжелые взмахи крыльев и удары, словно кто-то колотит дубинкой. Я обернулся и увидел их: блюстителей пустоты из породы могильщиков, голодных птиц.

Здесь, на этой земле, они больше не казались тенью. Они были даже слишком уж настоящими, приземлившись в темноте, как раз там, где заканчивалось золотое свечение. Они зависли в воздухе и расселись по деревьям, придвинувшись как можно ближе к золотой земле Хэмпстоков. Огромные, ростом гораздо больше меня.

А вот их пасти, морды, лица мне описать было бы очень трудно. Я видел их, смотрел,

вглядывался в каждую черту, но стоило мне отвести взгляд, как все уходило, и вместо голодных птиц в памяти оставались острые клювы и когти, или изогнутые щупальца, или грубые хитиновые челюсти. Их истинный облик не удерживался в моей голове. Я отворачивался и наверняка знал лишь то, что их алчные глаза устремлены на меня.

«Вот что, пригожие мои! — громко крикнула Джинни Хэмпсток. Она стояла в своем коричневом пальто, подбоченясь. — Вам здесь оставаться нельзя. Сами знаете. Пора улетать. — И просто скомандовала: — Пшли».

Бесчисленная стая голодных птиц колыхнулась, но с места не сдвинулась и начала шуметь. Я подумал, что они шепчутся, держат совет, а потом этот шум стал мне напоминать насмешливое кудахтанье.

Их голоса звучали отчетливо, но сливались в один, и я не мог различить, кто говорит.

— *Мы голодные птицы. Мы пожираем все, будь то дворцы или миры, короли или звезды. Мы можем оставаться везде, где захотим.*

— *Мы выполняем, что нам предписано.*

— *Мы необходимы.*

И они расхохотались так громко, будто на нас несся поезд. Я сжал руку Лэтти, она сжала мою в ответ.

— *Отдай нам мальчишку.*

«Вы только тратите свое время и мое тоже. Ступайте домой», — отрезала Джинни.

— *Нас призвали сюда. Нам нет нужды уходить, пока не завершим то, зачем пришли. Мы возвращаем все на круги своя. Ты же не станешь мешать нам?*

«Еще как стану, — ответила Джинни. — Вы уже пообедали. А теперь вздумали повыкобениваться. Убирайтесь, покуда целы. Поганые стервятники. Грош вам всем цена. А ну, пошли домой!» — Она резко взмахнула рукой.

Одно из созданий протяжно завывало от голода и нетерпения.

Лэтти крепко держала меня за руку. Она сказала: «Он под нашей охраной. На нашей земле. Сделайте только шаг, и вам конец. Так что убирайтесь».

Казалось, создания сбились кучнее. Сассексская ночь замерла: только листья шелестели на ветру, филин ухал где-то вдали, и ветер, пролетая, легонько вздыхал; но в этом безмолвии мне было слышно, как голодные птицы совещаются, взвешивают, решают, что делать дальше. И в этом безмолвии я чувствовал на себе их взгляд.

На дереве захлопали огромные крылья, и раздался пронзительный клекот, победный и довольный, в нем слышались голод, радость и одобрение. Я ощутил, как что-то в моей груди отзывается на этот крик, словно крохотная ледяная заноза в сердце.

— *Мы не можем пересечь границу. Это верно. Мы не можем забрать ребенка с вашей земли. И это верно. Мы не можем причинить вред вашей ферме и вашим тварям...*

«Правильно. Не можете. Так что проваливайте! Летите домой. Вам что, больше заняться нечем?»

— *Мы не можем причинить вред вашему миру, все верно.*

— *Но мы можем навредить этому.*

Одна голодная птица своим острым клювом зацепила землю у себя под ногами и принялась ее разрывать, но не как существо, что питается землей и травой, а как если бы она поедала занавес или декорацию с нарисованным на ней пейзажем. Там, где трава была съедена, не осталось ничего — вообще ничего, только цвет, который мне напоминал серый, но серый бесформенный, пульсирующий — вроде тех подрагивающих помех, которые возникают на экране телевизора, когда выдернешь кабель и изображение полностью исчезнет.

Это была пустота. Не темнота, не то, что мы зовем «небытие». А то, что находится под слегка размалеванным грубым холстом реальности.

И тут голодные птицы начали с шумом размахивать крыльями.

Они сели на вековой дуб, разодрали его и сожрали, за считанные секунды дерево исчезло вместе со всем, что находилось за ним.

Через живую изгородь выскользнула лиса и стала осторожно красться вниз по проселку, свет фермы золотил ее глаза, голову и шерстку. Не успела она проделать и половину пути, как ее вырвали из этого мира, оставив лишь пустоту.

Лэтти сказала: «Он дело говорил. Надо будить Ба».

«Ей это не понравится, — заметила Джинни. — С таким же успехом можно будить...»

«Ну и что. Если мы ее не поднимем, они разрушат весь этот мир».

Джинни ответила просто: «Я не знаю как».

Голодная туча, метнувшись ввысь, к кусочку ночного неба, где меж облаков проглядывали звезды, накинулась на созвездие в форме воздушного змея, название которого я никак не мог выучить, и принялась царапать, рвать, хватать и заглатывать. Не прошло и нескольких мгновений, как на месте неба и звезд оказалась лишь пульсирующая пустота, режущая глаз, если смотреть на нее в упор.

Я был обычным ребенком. То есть я был эгоистом и несколько сомневался в существовании того, что «не-я», зато верил, твердо верил, непоколебимо, что важнее меня нет ничего на свете. Ничего важнее, чем я сам, для меня не существовало.

Но даже и так я понимал, что происходит у меня на глазах. Голодные птицы собирались — нет, уже разрывали этот мир, полностью уничтожая его. Еще немного — и мира не будет. Мама, папа, сестра, мой дом, одноклассники, мой город, дедушки, бабушки, Лондон, Музей естественной истории, Франция, телевидение, книги, Древний Египет — из-за меня все это исчезнет, и на их месте ничего не останется.

Я не хотел умирать. Вдобавок я не хотел умирать, как Урсула Монктон — от острых когтей и клювов непонятно каких существ, у которых, может, даже ног и лица не было.

Я вообще не хотел умирать. Поймите.

Я отпустил руку Лэтти Хэмпсток и помчался изо всех сил, зная, что помедлить, даже притормозить — значит передумать, а это хуже всего, и спасти свою жизнь.

Далеко ли я убежал? Думаю, нет, не дальше, чем обычный ребенок.

Лэтти Хэмпсток кричала мне остановиться, но я все бежал по земле, где каждая травинка, каждый камешек на проселке, каждая ива и куст лещины светились золотом, бежал навстречу темноте. Я бежал и ненавидел себя за то, что бегу, как ненавидел себя, когда прыгнул с вышки в бассейн. Я знал, что отступать некуда, что в конце наверняка будет больно, и я знал, что за этот мир я готов отдать свою жизнь.

Они поднялись в воздух, эти голодные птицы, когда я бросился к ним, — совсем как голуби. Они стали носиться, кружиться — мрачные тени в ночи.

Я стоял в темноте и ждал, что они накинута на меня. Ждал, что их клювы вонзятся мне в грудь, и они сожрут мое сердце.

Я стоял так, наверное, секунды две, а казалось, целую вечность.

И оно случилось.

Что-то обрушилось на меня сзади и повалило в придорожную грязь лицом. Искры посыпались из глаз. Земля врезалась в живот, и у меня перехватило дыхание.

(Тут возникает фантомное воспоминание: неясное мгновение, мутное отражение в колодце памяти. Я знаю, как себя чувствуешь, когда могильщики забирают сердце.)

Когда голодные птицы, эти огромные пасти, разрывают тебе грудь, хватают сердце, которое еще бьется, и пожирают его, стремясь добраться до того, что в нем спрятано. Я знаю, каково оно, словно это и вправду было частью моей жизни, моей смерти. А потом память проворно кроит все и перекраивает, и...)

Послышался голос: «Идиот! Не шевелись. Лежи смирно», — он принадлежал Лэтти Хэмпсток, а я, если бы и захотел, все равно бы не смог шевельнуться. Она навалилась сверху, и веса в ней было больше моего; она прижимала меня к траве, к влажной земле, и я ничего не видел.

Зато чувствовал.

Я чувствовал, как они бросаются на нее. Она держала меня, создавая живой барьер между мной и всем остальным миром.

Я услышал, как Лэтти закричала от боли.

Почувствовал, как она задрожала и задергалась.

Воздух наполнился противным, хищным, торжествующим гоготом, а мои уши закладывало от собственных рыданий и всхлипов...

Раздался голос: «Это недопустимо».

Голос был знакомый, но я не мог ни понять, откуда он идет, ни повернуть голову и посмотреть, кто говорит.

Лэтти лежала на мне, все еще подрагивая, но, когда голос заговорил, она притихла. Голос продолжал: «По какому праву вы причиняете зло моему дитя?»

Молчание. И потом:

— *Она встала между нами и нашей законной жертвой.*

«Вы могильщики. Пожиратели требухи, мусора, гнили. Вы чистильщики. Неужто вы думаете, что вам позволено причинять вред моей семье?»

Я понял, кто говорит. Этот голос напоминал голос бабушки Лэтти, старой миссис Хэмпсток. Такой знакомый и вместе с тем незнакомый. Если бы старая миссис Хэмпсток была императрицей, она, наверное, говорила бы так — величавее, строже и еще мелодичнее, чем старушка, которую я знал.

Что-то мокрое и теплое заливало мне спину.

— *Нет... Владычица, нет.*

В первый раз страх и сомнение прозвучали в голосе одной из голодных птиц.

«Есть соглашения, законы, уговоры, а вы все их нарушили».

Воцарилось молчание, и оно было громче слов. Им нечего было сказать.

Я почувствовал, как тело Лэтти скатилось с меня, взглянул вверх и увидел умное лицо Джинни Хэмпсток. Она села на обочине, я и спрятал лицо у нее на груди. Она обхватила одной рукой меня, а другой — Лэтти.

Из полумрака донесся голос голодной птицы, совсем не похожий на голос, он произнес только:

— *Мы сожалеем о вашей утрате.*

«Сожалеем?» Слово выстрелило, как плевков.

Джинни Хэмпсток раскачивалась из стороны в сторону, тихо напевая что-то без слов мне и своей дочери. Ее руки обнимали меня. Я поднял голову и оглянулся на ту, что говорила, мои глаза застлала слезы.

Я вглядывался в нее.

Вроде бы это была старая миссис Хэмпсток. А вроде и нет. Бабушку Лэтти она напоминала так же, как...

То есть...

Она сияла серебром. У нее были те же длинные белые волосы, но теперь она распрямилась и стояла точно юная девушка. Мои глаза привыкли к темноте, и я хотел выяснить, знакомо ли мне ее лицо, но смотреть на него было невозможно, слишком ярко оно пылало. Как магний, ослепительно белым пламенем. Как фейерверк в ночь Гая Фокса. Как серебряный шиллинг в лучах полуденного солнца.

Я смотрел на нее сколько мог, а потом отвернулся, крепко зажмурившись, и видел лишь пульсирующее яркое пятно.

Голос, напоминающий голос старой миссис Хэмпсток, сказал: «Как мне быть, заточить вас в самом сердце темной звезды, чтобы вы маялись там, где каждая доля секунды тянется тысячу лет? Затребовать Вселенского возмездия и вычеркнуть вас из перечня созидания, словно и не было никаких голодных птиц, а все, что желает влачиться из мира в мир, может делать это бестрепетно?»

Я ждал ответа, но ничего не слышал. Только стон, жалобный крик досады и боли.

«Мне пока недосуг. Придет время, и я разберусь с вами особым образом. А сейчас я нужна детям».

— Да, владычица.

— Благодарствуем, владычица.

«Э, нет, не так быстро. Никто никуда не отправится, пока все это не станет на место. В небе недостает Волопаса. Исчезли дуб и лиса. Вы вернете их всех обратно. *Стервятники*», — добавила серебряная императрица, и голос ее теперь точно был голосом старой миссис Хэмпсток.

Кто-то напевал мелодию. Я слышал ее словно издалека, и вдруг понял, что пою я, в то же мгновение вспомнив, что это за песня: «*Мальчишки, девчонки, гулять идем!*»

...Светло на улице, как днем. Оставь свой ужин, оставь кровать. Айда на улицу гулять. С гиком и свистом во двор выходи. А если ты хмуришься, дома сиди...

Я вцепился в Джинни Хэмпсток. От нее пахло деревней и кухней, коровником и едой. От нее шел живой, настоящий запах, а настоящее в тот момент было как раз то, что мне нужно.

Я протянул руку и осторожно тронул Лэтти за плечо. Она не двигалась и не отвечала.

И тогда Джинни заговорила, но я не сразу понял, с собой ли она говорит, с Лэтти или со мной. «Они преступили черту, — начала она. — Они могли бы причинить вред тебе, дитя, и ничего бы не изменилось. Они могли бы причинить вред этому миру, им бы слова никто не сказал — в конце концов, это лишь мир, а миры — это просто песчинки в пустыне. Но Лэтти, она же Хэмпсток. Они не властны над ней, над моей малышкой. И они посмели сделать ей больно».

Я посмотрел на Лэтти. Ее голова поникла, скрывая лицо. Глаза были закрыты.

«Она поправится?» — спросил я.

Джинни не ответила, только крепче прижала нас обоих к груди и все качалась и напевала песню без слов.

Ферма и ее земля перестали светиться. Ощущение, что за мной кто-то следит из полумрака, исчезло.

«Да не волнуйся ты так, — сказал старый голос, снова ставший привычным. — Ты здесь как за каменной стеной, крепкой и прочной. Попрочней большинства, что я видела. Они

улетели».

«Они снова вернутся, — возразил я. — Им нужно мое сердце».

«Они не вернутся сюда, посули им хоть весь чай в Китае, — сказала старая миссис Хэмпсток. — Не то чтобы им была какая-то польза от чая или Китая, не больше чем ворону-могильщику».

Откуда я взял, что на ней серебряные одежды? На ней был сильно залатанный домашний халат поверх одеяния, которое, видимо, было ночнушкой, но из тех, что вышли из моды несколько столетий назад.

Старушка положила руку на бледный лоб своей внучки, приподняла его и отпустила.

Мама Лэтти покачала головой. «Все кончено», — сказала она.

Тут наконец до меня дошло, и я почувствовал себя глупо, потому что не понял этого раньше. Девочка, сидевшая рядом на коленях у матери, под сенью материнской груди, отдала за меня свою жизнь.

«Это я им был нужен, а не она», — сказал я.

«Им вообще незачем было вас трогать», — возразила старушка, фыркнув. И чувство вины захлестнуло меня, захлестнуло сильнее, чем когда-либо прежде.

«Надо отвезти ее в больницу, — с надеждой предложил я. — Вызвать доктора. Может, там ей помогут».

Джинни покачала головой.

«Она умерла?» — спросил я.

«Умерла? — повторила старая женщина в домашнем халате. Она явно оскорбилась. — Ни один, — начала она, тщательно выговаривая каждое слово, точно это был единственный способ донести до меня всю их значимость, — ни один Хэмпсток не позволил бы себе такой... *пошлости...*»

«Ее сильно покалечили, — вступилась Джинни Хэмпсток, крепче обнимая меня. — Сильнее *некуда*. Смерть надвинулась так близко, что если ничего не предпринять, причем быстро, то будет поздно. — И, последний раз прижав меня к себе, сказала: — А теперь слезай». Я неохотно сполз с ее колена и встал рядом.

Джинни Хэмпсток поднялась, обхватив руками безвольное тело дочери. Лэтти болталась и тряслась, как тряпичная кукла, пока ее мать вставала, и я с ужасом смотрел на нее.

«Это все я виноват. Простите. Простите меня», — пролепетал я.

Старая миссис Хэмпсток сказала: «Ты же хотел как лучше», но Джинни Хэмпсток не проронила ни слова. Она направилась по проселку к ферме, прошла коровник и за ним свернула. Я подумал, что Лэтти уже слишком большая, чтобы ее носить на руках, но Джинни несла ее, словно та весила не больше котенка, голова девочки и верхняя часть туловища покоились на плече у матери, будто бы ребенок уснул и его несут наверх в кровать. Джинни шла по дорожке вдоль живой изгороди, все дальше и дальше, пока мы не добрались до пруда.

Ветер стих, ничто не нарушало тишину ночи, мы двигались по дороге, и только лунный свет освещал нам путь; пруд, когда мы вышли к нему, оказался просто прудом. Ни золотого свечения. Ни волшебной луны. Лишь темный, обычный пруд и полумесяц, настоящий, узкий, отражающийся в воде.

На берегу я остановился, старая миссис Хэмпсток встала рядом.

Но Джинни Хэмпсток продолжала идти.

Пошатываясь, она продвигалась дальше, пока вода не дошла до бедер, ее пальто и юбка плыли по водной глади, дробя лунный серп на множество маленьких полумесяцев, которые то бросались врассыпную, то вновь собирались вместе вокруг нее.

На середине пруда, где вода была черной, Джинни Хэмпсток остановилась. Она сняла Лэтти с плеча, придерживая за голову и колени своими знающими руками, и стала медленно, очень медленно опускать ее в воду.

Вода подхватила тело девочки.

Джинни сделала шаг назад, затем другой, не отводя взгляда от дочери.

Я услышал стремительно нарастающий шум, будто на нас шел ураган.

Тело Лэтти дрогнуло.

Не было ни ветринки, но на поверхности пруда показались белые барашки. Я увидел волны, сначала легкие, плескучие, потом побольше, которые с силой налетали и разбивались о берег. Одна такая поднялась и обрушилась невдалеке от меня, окатив брызгами мою одежду и лицо. Я почувствовал на губах влагу, и она была соленой.

Я прошептал: «Прости меня, Лэтти».

Я силился разглядеть другой берег пруда. Несколько секунд назад он был мне виден. Но бушующие волны поглотили его, и за телом Лэтти виднелась лишь темнота и бескрайние, одинокие просторы океана.

Волны стали выше. В лунном свете вода начала мерцать, как тогда, в ведре, испуская неяркое синее свечение. На поверхности воды черным пятном плыло тело девочки, которая спасла мне жизнь.

Высохшая рука легла на мое плечо. «За что ты просишь прощения, мальчик? За то, что убил ее?»

Я кивнул, не в силах заговорить.

«Она не мертва. Ты не убил ее, как и голодные птицы, хотя они всю старались пробиться через нее к тебе. Ее отдали океану. Настанет час, и океан вернет ее».

Мне представились трупы и скелеты с жемчужинами вместо глаз. Русалки с юркими, поблескивающими хвостами, у моей золотой рыбки хвост так же поблескивал, пока она не замерла без движения и не всплыла животом кверху, как Лэтти. Я спросил: «А она останется прежней?»

Старушка разразилась хохотом, словно я отколот самую смешную шутку в мире. «Ничто не останется прежним. Пройдет ли секунда или одна сотня лет. Все беспрестанно бурлит и клокочет. И люди меняются так же сильно, как океаны».

Джинни выбралась из воды и, понунив голову, встала на берегу рядом со мной. Волны шумели, разбивались, разлетались брызгами и уходили. Вдалеке рокотало, и этот рокот становился все громче и громче: что-то несло на нас через океан. Из далекой дали, из-за тридцати земель, прорезая мерцающую синеву, на нас надвигалась тонкая белая линия, и, приближаясь, она росла.

Исполинская волна накатила, все вокруг загрохотало, и я взглянул вверх: она была выше деревьев, выше домов, выше, чем можно себе представить или окинуть взглядом, выше, чем может вынести сердце.

Тело Лэтти Хэмпсток качалось в волнах, и только достигнув его, гребнистый вал ухнул вниз. Я ждал, что промокну насквозь, или того хуже — меня утащит рассерженный океан, и я заслонился рукой.

Но не последовало ни могучего всплеска, ни оглушительного грохота, и когда я опустил руку, то увидел лишь спокойные черные воды ночного пруда, и на его поверхности — несколько листьев кувшинки и задумчивый изгиб полумесяца.

Старая миссис Хэмпсток тоже исчезла. Я думал, что она стоит рядом, но там была только Джинни, которая молча вглядывалась в темную зеркальную гладь маленького

водоема.

«А теперь, — сказала она. — Я отвезу тебя домой».

Позади коровника стоял «ленд ровер». Дверцы были открыты, и ключ зажигания торчал в замке. Я уселся на застеленное газетой пассажирское сиденье и наблюдал, как Джинни Хэмпсток управляется с ключом. Прежде чем завестись, мотор несколько раз чихнул.

Вот уж не мог представить себе, что кто-то у Хэмпстоков водит машину. Я сказал: «Не знал, что у вас есть машина».

«Ты еще много чего не знаешь, — резко заметила миссис Хэмпсток. Потом посмотрела на меня, взгляд ее потеплел, и она сказала: — Ты и не можешь все знать». Она дала задний ход, и «ленд ровер» загромыхал по колдобинам и лужам, выезжая со двора.

Кое-что не давало мне покоя.

«Старая миссис Хэмпсток говорит, будто Лэтти не умерла, — начал я. — Но она же была как мертвая. Я думаю, она и вправду мертвая. Я думаю, это неправда, что она не умерла».

Казалось, Джинни сейчас что-то скажет, растолкует мне, что есть правда, но она сказала только: «Лэтти ранена. Очень сильно. Океан забрал ее. Честно, я не знаю, вернет ли он ее обратно. Но мы можем надеяться, так ведь?»

«Да». Я сжал кулаки и изо всех сил стал надеяться.

Мы громыхали и тряслись по проселку со скоростью пятнадцать миль в час.

Я просил: «А она была... она в самом деле ваша дочь?» Я не понимал и до сих пор никак не пойму, почему я ее спросил об этом. Может быть, я просто хотел побольше узнать о девочке, спасшей мне жизнь и не единожды выручавшей меня. Я ничего о ней не знал.

«Более или менее, — ответила Джинни. — Мужчины Хэмпстоки, мои братья, ушли в мир, у них были дети, у их детей были дети. В твоём мире есть и другие женщины Хэмпсток, и я готова поспорить, каждая из них — по-своему чудо. Но чистокровные только бабушка, я и Лэтти».

«У нее был папа?» — продолжал спрашивать я.

«Нет».

«А у вас?»

«А ты у нас один сплошной вопрос? Нет, голубчик. С этим мы никогда не связывались. Мужчины нужны, только если хочешь плодить мужчин».

Я предложил: «Не надо отвозить меня домой. Я мог бы остаться у вас. Подождать, пока Лэтти не вернется из океана. Мог бы работать на ферме, таскать тяжести, научился бы водить трактор».

Она ответила: «Нет, — но сказала это по-доброму. — Ты займись своей жизнью. Лэтти подарила ее тебе. Так что теперь расти и постарайся распоряжаться этим даром достойно».

Меня обожгло обидой. Жить, выживать в этом мире, искать в нем свое место, делать то, что необходимо, и сводить концы с концами само по себе нелегко, а тут раз за разом придется оглядываться и думать, достойный ли это поступок, каким бы ничтожным он ни был, потому что за одну твою возможность его совершить кто-то когда-то если не умер, то поплатился жизнью. Это было несправедливо.

«А жизнь несправедлива», — подтвердила Джинни, как будто я говорил вслух.

Она свернула к нам на подъездную дорожку и остановилась у парадной двери. Я вылез из машины, и она тоже.

«Лучше подготовить твоё возвращение», — сказала она.

Миссис Хэмпсток позвонила в дверь, несмотря на то что дверь всегда была открыта, и принялась тщательно шаркать резиновыми сапогами по коврику на крыльце, пока мама нам открывала. Она уже приготовилась ко сну — на ней был розовый стеганный халат.

«А вот и он, — сказала Джинни. — Цел и невредим вернулся солдат с войны. Он здорово повеселился на празднике в честь отъезда Лэтти, но теперь самое время юноше отдохнуть».

Мама взглянула вопросительно — почти недоуменно, — и вдруг недоумение сменилось улыбкой, словно мир только что перевернулся, и вновь все встало на свои места.

«Ох, не стоило беспокоиться и отвозить его обратно, — сказала мама. — Мы бы сами за ним приехали. — Потом она взглянула на меня. — Дорогой, что нужно сказать миссис Хэмпсток?»

Я машинально проговорил: «Спасибо-за-приятный-вечер».

Мама похвалила: «Правильно, дорогой. — И спросила: — А куда уезжает Лэтти?»

«В Австралию, — ответила Джинни. — К отцу. Нам будет не хватать этого паренька, ну да ладно, мы сообщим вам, когда Лэтти вернется. И он снова сможет приходить и играть с ней».

Усталость брала верх. Праздник получился веселый, хотя я не очень помнил, что там было. Зато я знал наверняка, что больше не пойду на ферму к Хэмпстокам. Если только Лэтти туда не вернется.

Австралия была далеко-далеко. Я подумал: интересно, сколько лет пройдет, прежде чем Лэтти вернется с отцом оттуда? Наверное, много. Австралия же на другом конце света, за океаном...

В глубине души у меня еще теплилось воспоминание об ином ходе всего происшедшего, но потом и оно исчезло, словно я разоспался и вдруг вскочил, огляделся и, натянув на уши одеяло, снова уснул.

Миссис Хэмпсток села в свой старенький «ленд ровер», весь запачканный грязью (сейчас, в свете фонаря над парадной дверью, мне это было видно), заляпанный так, что следов краски на поверхности почти не осталось, и, дав задний ход, поехала по дорожке к проселку.

Похоже, маму не очень волновало, что я вернулся домой в причудливом одеянии и почти в одиннадцать вечера. Она сказала: «У меня плохие новости, дорогой».

«Что случилось?»

«Урсуле пришлось уволиться. Семейные обстоятельства. Неотложные семейные обстоятельства. Она уже уехала. Сама знаю, как она вам, детям, нравилась».

Я точно знал, что она мне не нравилась, но ничего не сказал.

Теперь в моей комнате на самом верху никого не было. Мама спросила, не хочу ли я там пожить какое-то время. Я отказался, сам не совсем понимая почему. Я никак не мог вспомнить, отчего так невлюбил Урсулу Монктон — на самом деле я чувствовал себя слегка виноватым из-за такого своего совершенного и необъяснимого ее неприятия, — но у меня не было никакого желания возвращаться в ту комнату, несмотря на маленький желтый умывальник, как раз моего размера, и я оставался в комнате сестры, пока через пять лет наша семья не выехала из этого дома (мы, дети, возражали, но родители, кажется, только вздохнули с облегчением — их финансовые трудности закончились).

Мы выехали, и дом снесли. Я не ходил смотреть, как он стоит пустой, и отказался присутствовать при его сносе. Слишком многое у меня было связано с этими кирпичами и черепицей, с этими водосточными трубами и стенами.

Годы спустя сестра, уже став взрослой, призналась мне, что думает, будто мама уволила Урсулу Монктон (которую она вспоминала с большой любовью как единственно замечательную в черед сварливых нянек) из-за интрижки с нашим отцом. Что ж,

возможно, согласился я. Родители были тогда еще живы, и я мог бы спросить их, но не стал.

Отец никогда не упоминал события тех двух ночей.

Если я что-то и взял от него и вынес из своего детства, так это зарок не кричать на людей, особенно на детей.

Мне исполнилось двадцать, и мы с отцом наконец подружились. Когда я был мальчишкой, нас мало что связывало, и наверняка тогда для него я был разочарованием. Он не хотел сына-книжника, живущего в своем собственном мире. Ему нужен был сын, который делал бы все, что и сам он делал когда-то: плавал, боксировал, играл в регби, упоенно гонял на машине, а получился невесть кто.

Я больше не ходил на тот конец проселка. Я и думать забыл про наш белый «мини». Если я вспоминал добытчика опалов, то лишь глядя на два необработанных опаловых камня, которые расположились на нашей каминной полке, и он всегда представлялся мне в клетчатой рубашке и джинсах. Лицо и руки у него были смуглыми, а не вишневыми, как после отравления угарным газом, и на нем не было галстука-бабочки.

Монстр, рыжий котяра, которого добытчик опалов оставил нам, ходил побирался по соседям, время от времени мы видели, как он, выслеживая добычу, крадется по канаве или прячется на дереве, но на наш оклик он ни разу не отозвался. И мне кажется, я даже был этому рад. Он никогда не был нашим котом. Мы это знали, и он тоже.

Сдается мне, истории рассказывают только затем, чтобы показать, как персонажи меняются. Но когда все это случилось, мне было семь, и в конце истории я был тем же, что и в начале, так ведь? И все остальные тоже. Люди не меняются.

Кое-что, правда, изменилось.

Примерно через месяц после описанных здесь событий; за пять лет до того, как мир, где я жил, сровняли с землей и заставили аккуратными низенькими обычными домами, которые заполнила умная молодежь, работавшая в большом городе, а жившая у нас, она не строила, не копала, не огородничала и не ткала, она делала деньги, переводя их из одного места в другое; за девять лет до того, как я поцеловал улыбчивую Келли Андерс...

Я вернулся из школы домой. На дворе был май, может быть, начало июня. Она ждала у черного хода, словно точно знала, где она находится и кто ей нужен — молодая черная кошка, ростом уже чуть больше котенка, с большим белым пятном на одном ухе, с глазами яркого, необычного, зеленовато-синего цвета.

Она последовала за мной в дом.

Я накормил ее оставшимися от Монстра консервами, выложив их ложкой в его пыльную миску.

Родители, которые так и не заметили, что рыжий котяра исчез, вначале не обратили внимания на новую кошку, и к тому времени как отец что-то сказал, она жила у нас уже несколько недель, лазила по саду, ожидая моего возвращения из школы, а дождавшись, постоянно находилась со мной, пока я читал или играл. Вечером она сидела под кроватью, и когда огни в доме гасли, устраивалась на подушке рядом и принималась умывать меня, вылизывая волосы и мурлыча так тихо, что никогда не мешала сестре.

Я засыпал, уткнувшись в ее шерстку, а у щеки приглушенно и мягко вибрировал кошачий моторчик.

У нее были необыкновенные глаза. Они напоминали мне берег моря, и, сам не зная почему, я взял и назвал ее Океаном.

ЭПИЛОГ

Я сидел на старой зеленой скамье у пруда за домом из красного кирпича и думал о своем котенке.

Я только помнил, что Океан выросла, став взрослой кошкой, и была моей любимицей на протяжении многих лет. Я никак не мог вспомнить, что с ней потом случилось, и в конце концов махнул рукой, подумав: *К чему теперь эти детали: случилась смерть. Такое случается со всеми нами.*

В доме отворилась дверь, и я услышал, как по дорожке зашуршали шаги. Старушка подошла и села рядом со мной. «Я принесла вам чашечку чая, — сказала она. — А еще сэндвич с помидорами и сыром. Вы уж давненько здесь. Я ненароком подумала, может, свалились в пруд».

«Может, и свалился, — проговорил я. И добавил: — Спасибо вам». Пока я сидел здесь, незаметно стемнело.

Я взял чай, отпил глоток и взглянул на женщину, теперь повнимательнее. Изучая ее, я принялся перебирать свои воспоминания сорокалетней давности. «Так вы не мама Лэтти, — сказал я. — Вы старая миссис Хэмпсток».

«Да, верно, — невозмутимо подтвердила она. — Вы ешьте сэндвич».

Я откусил. Он был хорош, очень хорош. Свежий хлеб, острый, солоноватый сыр и помидоры, настоящие, вкусные помидоры.

Меня поглотили воспоминания, и я хотел знать, к чему, зачем все это. Я спросил: «Это правда?» и почувствовал себя дураком. Из всех вопросов, которые можно было бы задать, я задал именно этот.

Старая миссис Хэмпсток пожала плечами. «То, что вы вспомнили? Возможно. Более или менее. У разных людей воспоминания разные, не найдется и двух человек, которые хоть что-то помнят одинаково, пусть даже и видели это собственными глазами. Вот вы стоите рядом, а вполне может быть, вы бесконечно далеки и друг от друга, и от самой истины».

Меня мучил еще вопрос. «Почему я пришел сюда?»

Она взглянула на меня так, словно вопрос был с подвохом. «Из-за похорон, — сказала она. — Вы хотели убраться подальше ото всех и побыть наедине с собой. Сначала отправились туда, где жили мальчишкой, и, не получив облегчения, по своему обыкновению, приехали сюда».

«По своему обыкновению?» Я глотнул чая. Он был еще горячий и в меру крепкий: великолепный «чай для строителей», с молоком, сахаром, наваристый. *В нем ложка встанет*, как говаривал отец про чай, который ему приходился по душе.

«По своему обыкновению», — повторила она.

«Да нет же, — возразил я. — Меня здесь не было, мм, с самого отъезда Лэтти в Австралию. С того праздника. — А потом добавил: — Которого не было. Ну, вы понимаете, о чем я».

«Иногда вы навещаетесь к нам, — сказала она. — Помнится, один раз, когда вам было двадцать четыре. У вас было двое маленьких детей, и вам было страшно. И перед тем, как уехать отсюда; сколько вам тогда было, за тридцать? Я хорошенько накормила вас на кухне, а вы рассказывали мне про сны и свое искусство».

«Я не помню».

Она убрала прядь, упавшую на глаза. «Так проще».

Я отпил чая и доел сэндвич. Кружка была белой и тарелка тоже. Бесконечный летний вечер подходил к своему концу.

Я снова спросил ее: «Почему я приезжал сюда?»

«Лэтти так хотела», — ответил кто-то.

Слова принадлежали женщине, которая шла вдоль пруда — в коричневом пальто и резиновых сапогах. Я смотрел на нее в замешательстве. Она выглядела моложе меня. Я помнил ее большой, взрослой, а теперь видел, что ей и сорока нет. Я помнил ее дородной, а она всего-навсего пухленькая, симпатичная, с круглыми щечками. Это была прежняя Джинни Хэмпсток, мама Лэтти, и, вне всяких сомнений, за эти сорок с небольшим лет она ни капли не изменилась.

Она села на скамью с другой стороны от меня, и я оказался между женщинами Хэмпсток. Она сказала: «Я думаю, Лэтти просто хотела узнать, стоило ли оно того».

«Что стоило?»

«Ты», — резко ответила старушка.

«Лэтти сделала для тебя великую вещь, — сказала Джинни. — Думаю, по большому счету ей интересно, что из этого вышло, не зря ли она так поступила».

«Она... пожертвовала собой ради меня».

«В каком-то смысле, дорогой, — подтвердила Джинни. — Голодные птицы рвали из груди твое сердце. Умирая, ты так жалобно кричал. Она не смогла вынести этого. Она должна была как-то помочь тебе».

Я попытался вспомнить. «У меня в памяти осталось другое», — удивился я. И подумал про свое сердце — интересно, там ли еще холодный осколок двери, и дар ли это тогда или проклятие.

Старушка хмыкнула. «Я же вроде сказала, не найдется и двух человек, которые хоть что-то помнят одинаково?» — заметила она.

«А можно поговорить с ней? С Лэтти».

«Она спит, — ответила мама Лэтти. — Она идет на поправку. Но еще не разговаривает».

«Сначала ей нужно полностью все закончить там, где она сейчас», — сказала бабушка Лэтти, показав то ли на пруд, то ли на небо, я так и не понял.

«А когда она закончит?»

«Как только, так сразу», — ответила старушка, а ее дочь сказала: «Скоро».

«Ну хорошо, — проговорил я. — Раз она так хотела взглянуть на меня, давайте я покажусь ей», — и, не успев закончить фразу, как понял, что это уже случилось. Сколько времени я провел на этой скамье? Я вспоминал Лэтти, а она меня проверяла. «Ой. Уже, наверное, не надо?»

«Нет, милый».

«И как, я прошел экзамен?»

В сгущающихся сумерках я не мог ничего прочесть на лице старой женщины справа. А женщина помоложе слева от меня сказала: «Жить и быть человеком — это не то, что пройти или провалить экзамен, милый».

Я поставил пустую кружку и тарелку на землю.

Джинни Хэмпсток продолжала: «Мне кажется, тебе лучше, чем в прошлый раз, когда мы виделись. Ты хотя бы начал отращивать новое сердце».

В моих воспоминаниях эта женщина была величиной с гору, и я ревел и дрожал от страха у нее на груди. А теперь я был ростом выше ее и уже не мог представить, что она утешает меня, тем более баюкает на коленях.

В небе над прудом висела полная луна. Даже под страхом смертной казни я бы не вспомнил, шла ли она на убыль или прибывала в последний раз, когда я смотрел на нее.

Правда, я вообще не мог вспомнить, когда я в последний раз по-настоящему смотрел на луну.

«А что будет теперь?»

«Все, что каждый раз происходит, когда ты приезжаешь сюда, — ответила старушка. — Ты вернешься домой».

«Я уже и не знаю, где дом», — сказал я им.

«Ты всегда так говоришь», — заметила Джинни.

В моих воспоминаниях Лэтти Хэмпсток все еще была выше меня на целую голову. Ей же было одиннадцать. Интересно, что бы — кого бы — я увидел, окажись она передо мной сейчас.

Луна в пруду опять была полной, и я отчего-то вдруг вспомнил о простаках из старой сказки, о тех, что ловили луну в озере неводом, уверенные, что отражение в воде ближе и поймать его легче, чем шар, висевший в небе.

И безусловно, оно так и есть.

Я поднялся и сделал несколько шагов к пруду. «Лэтти, — позвал я, пытаюсь не обращать внимания на двух женщин позади меня. — Спасибо, что спасла мне жизнь».

«Не стоило ей брать тебя с собой в первый раз, когда она отправилась искать то, с чего это все началось. Замечательно справилась бы в одиночку. Не нужно ей было брать тебя за компанию, вот глупышка. Ладно, будет ей урок на будущее».

Я повернулся и посмотрел на старую миссис Хэмпсток. «А вы правда помните, как луна родилась?» — спросил я.

«Я помню кучу всего», — ответила она.

«А я еще вернусь сюда?» — спросил я.

«Тебе этого знать не надо», — сказала старушка.

«А теперь иди, — мягко проговорила Джинни Хэмпсток. — Люди уже волнуются, куда ты пропал».

Она сказала это, и я поежился от неловкости, представив, что сестра, ее муж, ее дети, мои дети, все доброжелатели и те, кто пришел на похороны, и просто гости ломают голову над тем, куда же я делся. Хотя как раз сегодня мою отлучку можно было бы легче простить. День выдался длинный и трудный. Я был рад, что он кончился.

Я сказал: «Надеюсь, я не очень вас побеспокоил».

«Нет, милый, — заверила меня старушка. — Какое тут беспокойство».

Я услышал, как мяукнула кошка. Через мгновение она показалась из сумрака, выйдя навстречу яркому лунному свету. Потом уверенно направилась ко мне и потерлась о мою туфлю.

Я сел перед ней на корточки, почесал лоб, погладил по спине. Это была красивая кошка, черная, или мне так показалось из-за лунного света, который поглощал все цвета. На одном ухе у нее было большое белое пятно.

Я сказал: «Была у меня когда-то такая же кошка. Я звал ее Океаном. Красавица. Правда, не помню, что с ней приключилось».

«Ты принес ее обратно к нам», — напомнила Джинни Хэмпсток. И, тронув меня за плечо, сжав его на секунду, ушла.

Я подхватил тарелку с кружкой и нес их всю дорогу, пока мы со старушкой возвращались к дому.

«Светло на улице как днем, — сказал я. — Как в той песне».

«Да, хорошо, когда луна полная», — согласилась она.

«Вот забавно, — сказал я. — В какой-то момент я подумал, здесь была еще женщина. Странно, правда?»

«Нет, я одна тут, — ответила старушка. — Одна-одинешенька».

«Да, знаю, — сказал я. — Конечно, одна».

Я собрался было отнести тарелку с кружкой на кухню, но у двери дома она остановила меня. «А теперь возвращайтесь к своим, — сказала она. — Они станут вас разыскивать».

«Они поймут», — проговорил я. И надеялся, что так и будет. Сестра разволнуется, а другие, которых я едва знал, огорчатся, что не смогли выразить мне свои самые, самые искренние соболезнования по поводу моей утраты. «Вы были так добры. Пустили меня посидеть и поразмыслить здесь. У пруда. Я очень вам благодарен».

«Чушь собачья, — возразила она. — Нет в этом ничего такого».

«В следующий раз Лэтти напишет из Австралии, — сказал я. — Пожалуйста, передайте ей привет».

«Передам, — пообещала она. — Лэтти будет рада, что вы о ней вспомнили».

Я сел в машину и завел мотор. Старая женщина стояла в дверях, вежливо провожая меня, пока я не развернул машину и не выехал на проселок.

Я взглянул на дом в зеркало заднего вида, и в неверном сумеречном свете мне показалось, будто две луны светят над ним, как пара глаз, следящих за мной оттуда: одна луна совершенно полная и круглая, а другая, с другой стороны неба — ее брат-близнец, полумесяц.

Я повернулся на сиденье и с любопытством посмотрел назад: над домом одиноко висел полумесяц — невозмутимый, бледный, обычный.

Я задумался, отчего мне причудилась вторая луна, но задумался лишь на секунду, а потом выбросил это из головы. Может быть, слишком долго смотрел на нее, или просто обман зрения: на мгновение что-то шевельнулось у меня в душе, так екнуло, что я почти поверил в него, а теперь прошло, затухло, затерявшись в прошлом, как забытое воспоминание или тень в темноте.

Благодарности

Книгу вы только что прочли. Дело сделано. Мы дошли до благодарностей. Сказать по правде, они не часть книги. И читать их не обязательно. В основном это лишь имена.

Семья в этой книге — не моя семья, а мои родственники великодушно позволили мне разграбить уголок нашего детства, и следили за тем, как я без особого стеснения переделываю знакомые места, вставляя их в сюжет. Я благодарен им всем, в особенности своей младшей сестре Лиззи, которая поддерживала меня и посылала давно забытые и подстегивающие память снимки (жаль, я вовремя не вспомнил старую теплицу, чтобы и ее вставить в книгу).

Я должен поблагодарить очень и очень многих: тех, кто был рядом в нужную минуту, тех, кто приносил чай, тех, кто написал книги, на которых я вырос. Выделять кого-то из них глупо, и все же...

Закончив книгу, я отослал ее многим друзьям на читку, и они читали придирчивым взглядом, отмечая, что работает, а что нуждается в доработке. Я благодарен им всем, но в особенности я должен сказать спасибо Марии Давана Хедли, Олге Нуньес, Алине Симон (королеве заголовков), Гэри К. Вульффу, Кэт Ховард, Келли МакКаллоу, Эрику Сассмену, Хейли Кэмпбелл, Вале Дудич-Лупеску, Мелиссе Марр, Элиз Маршалл, Энтони Мартиньетти, Питеру Страубу, Кэт Деннинге, Джину Вулфу, Гвенде Бонд, Энн Бобби, Ли Барнетту («Попугайчику»), Моррису Шамаху, Фаре Мендельсон, Генри Селику, Клэр Кони, Грейс Монк и Корнелии Функе.

Начало этому роману, хотя тогда я не знал, что он дорастет до такого, было положено, когда Джонатан Стрэн попросил меня написать рассказ. Я начал писать про добытчика опалов и Хэмпстоков (которые жили на ферме у меня в голове уже столько времени), и Джонатан великодушно простил меня, когда я в конце концов признался себе и ему, что это совсем не рассказ, и позволил истории стать романом.

В Сарасоте, штат Флорида, Стивен Кинг напомнил мне, какое это счастье — просто писать каждый день. Иногда слова спасают нам жизнь. Тори предоставила мне дом, чтобы я мог спокойно писать, и я безмерно ей благодарен.

Арт Шпигельман любезно позволил мне взять эпиграфом к книге слова Мориса Сендака из их разговора, опубликованного в «Нью-Йоркере».

И переделывая книгу во второй раз, и набирая на компьютере первый рукописный черновик, я читал вечером в постели этот дневной отрывок своей жене Аманде и, вот так читая ей вслух, узнал о написанных мною словах куда больше, чем когда-либо. Она была первым читателем книги, и ее замешательство, вопросы и удовольствие вели меня сквозь последующие черновые дебри, (Я написал эту книгу для Аманды, когда она была далеко и я очень скучал. Без нее моя жизнь была бы более серой и унылой.)

Мои дочери Холли, Мэдди и сын Майкл — самые мудрые и добрые критики на свете.

У меня прекрасные издатели по обе стороны Атлантики: Дженнифер Брел, Джейн Морпет и Розмари Броснан, они прочли первый черновик книги, и каждая отметила что-то, что нужно было исправить, отладить и переделать. Джейн и Дженнифер отлично скооперировались, когда книга неожиданно подоспела — неожиданно для нас всех, включая меня.

Я хочу сказать огромное спасибо комитету по организации лекций в память Зены Сазерленд в Чикагской публичной библиотеке: я провел там лекцию в 2012 г., и сейчас, по прошествии времени, мне ясно, что в основном это была беседа с самим собой о том, как писалась эта книга, попытка понять, что и для кого я пишу.

Вот уже двадцать пять лет, как Меррили Хейфец — мой литературный агент. Ее помощь в подготовке этой книги, как и вообще любой другой моей книги на протяжении последней четверти века, поистине неоценима. Джон Левин, мой агент по киноделам, — замечательный чтец и строит недовольные гримасы а-ля Ринго Старр.

Добрые твиттеряне очень выручили меня, когда понадобилось выяснить, сколько стоили лакричные тянучки «Черный Джек» и фруктовые жевательные конфеты в 1960-е гг. Без

них я бы писал эту книгу вдвое дольше.

А в завершение я хочу поблагодарить Хэмпстоков, которые так или иначе, но всегда были рядом, когда я в них очень нуждался.

Эта книга — чистый вымысел. Все персонажи, события и диалоги — не более чем плод авторского воображения и не имеют отношения к реальности. Любое сходство с реальными событиями и людьми, ныне здравствующими или мертвыми, является совершенно случайным.

Послесловие переводчика

«А увлекают меня такие книжки, что как их дочитаешь до конца — так сразу подумаешь: хорошо бы если бы этот писатель стал твоим лучшим другом и чтоб с ним можно было поговорить по телефону, когда захочешь». Еще не дочитав «Океана», вспоминаешь Джерома Сэлинджера и его «Над пропастью во ржи». Если ты еще и переводчик, но наверняка с восхищением вспомнишь и о Рите Райт-Ковалевой.

Сейчас, когда прошел уже почти месяц с момента, как перевод окончен, можно, остыв от «мук творчества», оглянуться и спокойно взвесить. Конечно, многое хочется объяснить и отметить. Прежде всего, недоумение, что охватывает тебя, стоит только прочесть несколько первых страниц пролога. Что такое произошло с Нилом Гейманом? Отчего ты и узнаешь, и не узнаешь ту интонацию, ради которой мы все его читаем?

Мало-помалу (а на самом деле с космической скоростью) продвигаясь вперед по тексту, про этот вопрос напрочь забываешь. Он как бы отпадает сам собой. И когда роман завершен, ответ на него читателю кажется очевидным. Потому что, пройдя вместе с героем сквозь мифологические дебри, которые Гейман старательно возвращает у себя на страницах, ты вроде бы встречаешься с самим собой. Неожиданно для себя совершив путешествие во времени и попав не в чужое детство, а в свое собственное. И тут возникают совсем другие вопросы — к своему детству, к себе тогдашнему и сегодняшнему.

Мифологические дебри, заселившие «Океан», удивительно непроходимы. Они — как та густая живая изгородь, что тянется вдоль Геймановского проселка. Я на правах переводчика, вооружившись отсылками из подлинника, старательно указывал читателям потайные щели, через которые можно пробраться, чтобы двигаться дальше. Но сносок я почти не делал, потому что их не делал автор, и он, на мой взгляд, в таких разъяснительных комментариях не нуждается. Оставшись наедине с книгой, я попытался встать на позицию будущего русского читателя. Потому старался не докучать Нилу Гейману с вопросами. Ни про стародавних английских королей, которых он вспоминает не раз и не два, ни про таинственные Мышиные битвы, ни про кузена с библейским именем Япет. Ни даже про то, что в разное время у одного и того же котенка меняется цвет глаз. Гейман — очень умный писатель, а значит, все это мозаичные части большого замысла.

Главное отличие «Океана» в том, что автор старательно конструирует реальность, которая на сей раз поразительно нефантастична. Не потому, что там нет места волшебному. Очень даже есть. Просто это волшебное на самом деле вплетено и в нашу с вами действительность, пусть мы о том и не подозреваем, предпочитая не вглядываться и не думать. Нил Гейман неожиданно уходит из пространства большого города и ведет нас туда, где волшебство существует испокон веков. В деревню. Магические ритуалы, описанные в книге, вызовут разве что скептическую ухмылку у завязатого горожанина — обитателя мегаполисов. Но вы углубитесь в деревню, и все, о чем говорит здесь автор, обретет плоть и кровь.

В «Океане» более всего видно, что Гейман идет по стопам своих наставников — Рэя Брэдбери, Майкла Муркока, Роджера Желязны. Он выходит за рамки жанра, который традиционно принято считать низким, и вносит свою немалую лепту в сотворение нашей литературной вселенной.

Напоследок расскажу еще о нескольких версиях оригинала, которые случайным образом попадали мне в руки, пока я переводил. В октябре 2012 г. я получил рукопись и, проглотив роман за сутки, в первый раз заикнулся, что готов его перевести. 18 июня 2013 г. на английском вышла книга. Я тогда только-только закончил четвертую главу и на всякий случай раздобыл вышедший вариант. Оказалось, что именно в четвертой главе прибавилась пара абзацев. Уже закончив переводить десятую главу, я наткнулся на третий вариант оригинала. И он тоже отличался от предыдущего. Дальше пришлось работать, сравнивая три текста. Так я убедился, что Гейман — большой молодец и уж точно не нуждается в переводческих сносках и разъяснениях.

Примечания

1

У англичан есть поверье: если цветок лютика зажать под подбородком и потом там останется желтая пыльца, то вы наверняка любите животное масло.

2

Перевод Н. Демуровой.

3

«Песнь о ночном кошмаре», или «Кошмар лорда-канцлера», из оперы Гилберта и Салливана «Иоланта» (*англ.* «The Lord Chancellor's Nightmare», 1882 г.).

4

Перевод С. Маршака (*англ.* «Girls and boys come out to play»).